

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://chekhovanton.ru/> Приятного чтения!

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов

#### Предисловие

Вопрос о вере Антона Павловича Чехова у многих вызовет скептическую улыбку. Можно ли заподозрить православное мировоззрение у человека, называвшего себя материалистом? Однако для тех, кто знаком с творчеством писателя, вопрос этот становится не столь однозначным.

...В небольшой тесной церквушке полумрак, блестят под иконами лампадки, чуть слышно потрескивают свечи, сладко пахнет ладаном. Вперед выходят три мальчика, три брата, в праздничных рубахах, гладко причесанные. Они немного смущаются и поглядывают друг на друга, с особым усердием исполняя «Да исправится» и «Архангельский глас»... Один из мальчиков – будущий великий писатель Антон Чехов.

Прекрасное знание Священного Писания, церковных обрядов, интерес к православным праздникам и богослужениям, отразившийся во многих произведениях («Студент», «На святках», «Святой ночью», «На Страстной неделе», «Архиерей» и др.), Чехов вынес из детства. В доме его родителей было много религиозных книг, по которым дети обучались грамоте. И, судя по подборке книг в личной библиотеке уже взрослого Чехова, интерес к духовной литературе он сохранил на всю жизнь. С верой же дело обстояло несколько иначе.

«Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание – с церковным пением, с чтением Апостола и кафизм в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным; религии у меня теперь нет». Это строчки из письма Чехова к писателю Щеглову.

Но в записных книжках Чехова встречаются и такие замечания: «До тех пор человек будет сбиваться с направления, искать цель, быть недовольным, пока не отыщет своего Бога. Жить во имя детей или человечества нельзя. А если нет Бога, то жить не для чего, надо погибнуть. Человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек».

Обсуждая вопрос о вере Чехова, исследователи его творчества и по сей день не могут прийти к единому мнению. В 1904 году известный философ, богослов и священник Сергей Николаевич Булгаков в своей лекции отмечал, что в творчестве писателя ярко отразились «искание веры, тоска по высшем смысле жизни». Русский писатель Борис Константинович Зайцев в книге «Чехов. Литературная биография» заметил, что Чехов – «добрый самарянин», следующий заповеди «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Тем не менее, многие исследователи называли писателя атеистом, рационалистом и человеком науки, отвергающим всякую мистику.

Иван Алексеевич Бунин вспоминал: «Что думал он о смерти? Много раз старательно-твердо говорил мне, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме – сущий вздор». Однако в одном из писем Чехова к тому же Бунину есть и совсем другие строки: «Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие – это факт. Вот погодите, я докажу вам это».

Истоки этих противоречий, возможно, следует искать в детстве Чехова. Специалист по его творчеству Михаил Петрович Громов пишет об отце писателя: «Отец Чехова был религиозным человеком, но в его вере не было терпимости и добродушия. Была жесткая убежденность, внушенная не столько верой в предвечную справедливость и добро, сколько страхом перед казнями ада». Чехов, по убеждению Громова, «не унаследовал той домостроевской нетерпимой религиозности, которая царила в доме его отца, в этом смысле религии у него... действительно не было».

Но, пусть даже отказавшись от веры в том виде, в котором она была принята в доме отца, Чехов все-таки ищет ее. Вот сюжет его любимого рассказа «Студент»: юноша встречается у костра двух женщин, отогревается и размышляет вслух о Страстной пятнице, рассказывает об аресте Христа и отречении Петра; попрощавшись, уходит. Вновь перед ним только потемки да холодный ветер вокруг, и «не похоже, что послезавтра Пасха». И тут же, как озарение, появляется осознание целостности и непрерывности всего в мире, чувство причастности ко всему, внезапно нахлынувшее

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
ощущение радости, необъяснимой и невыразимой: «...очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему... И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух». Что же за радость охватила героя? Что за чувство воплощения истории в настоящем? Всю Страстную неделю перед Пасхой богослужения в храмах воссоздают Евангельские события, чтобы пережить их в настоящем, сострадать Христу и в Пасху сорадоваться Его Воскресению. Студент, пересказав эти события двум женщинам, тоже достигает состояния сопереживания прошлого в настоящем – того религиозного чувства, которое должно возникать у прихожан во время службы в храме.

Творчество Чехова не позволяет нам воспринимать его как атеиста. По словам Сергея Николаевича Булгакова, Чехов своеобразен в своем творчестве тем, что искание правды, Бога, души, смысла жизни он совершал, исследуя не возвышенные проявления человеческого духа, а нравственные слабости, падения, бессилие личности... сострадательная любовь к слабым и грешным, но живым душам – основной пафос чеховской прозы.

В его произведениях мы не увидим праведников, но найдем героев, которые пытаются исправиться. В православном по духу рассказе «На Страстной неделе» мальчик описывает свое говение и причастие в храме. После исповеди у священника и приобщения к Святым Тайнам герой внутренне преображается: «Как теперь легко, как радостно на душе! Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай!» И в этом новом состоянии он готов даже совершить свой маленький христианский подвиг – простить врага (соседского мальчишку, обижавшего и задиравшего его прежде) и примириться с ним.

Очищение души – исцеление – противопоставляется в чеховских рассказах духовной деградации. Как земский врач, Чехов лечил людей (причем, бедных – всегда бесплатно), выписывая одинаковое лекарство от одних и тех же недугов. Как писатель, Чехов показывает, что все люди, независимо от статуса и положения в обществе, подвержены одним и тем же духовным болезням: лень, ханжество, равнодушие, трусость, гнев, зависть. Другое их название – смертные грехи. Чехов-врач, знающий, что устранять следует не болезнь, а ее причины, рассказывает пациентам, чего им не следует делать, чтобы оставаться здоровыми. Чехов-писатель наглядно демонстрирует читателям, как грех воздействует на душу, инфицируя и убивая ее. В рассказе «Ионыч» мы видим, как доктор Старцев, получив отказ от Катерины, спустя некоторое время становится грузным, ленивым, самодовольным и равнодушным; на призыв к любви повзрослевшей Кати душа его уже не отзывается: она мертва. Откуда же началось духовное умирание Ионыча, из чего оно «выросло»? Из маленькой корыстной мысли о приданом, которое он мог бы получить после женитьбы. С годами же один этот грех разросся в нем настолько, что погубил и саму любовь к Кате, и душу Ионыча. В рассказе «Крыжовник» Николай Иваныч, стремящийся вырваться из чиновничьего мирка и стать свободным человеком, выбирает символом этой свободы вещь не духовную, а материальную, и становится рабом и заложником... кустов крыжовника, который и на вкус-то оказывается кислым, чего никак не хочет признавать герой рассказа. Итог печален: в погоне за свободной жизнью он добровольно отказывается от настоящей свободы, заточив себя в «гроб» материальных благ. Эта идея во многом продолжает тему гоголевской «Шинели» и иллюстрирует слова Христа: «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6: 21), «...не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» (Мф. 6: 25.)

Герой рассказа «Человек в футляре» – пожалуй, наиболее яркий образ человека, умершего духовно задолго до физической смерти. Он так боится жизни, любых ее проявлений, так отгораживается от всего непредсказуемого, потенциально опасного, яркого, непривычного – одним словом, живого, – что в конце концов и оказывается там, где ничто живое ему не угрожает: в гробу. Окружающие даже не могут назвать героя рассказа «человеком», давая ему греческое определение «антропос» – как некому виду на музейной полке, уже лишенному жизни и души.

Естественно, что, как у любого мыслящего человека, у Чехова на протяжении жизни были сомнения. Но прежде чем приводить их как доказательства отсутствия веры у писателя, нужно задуматься о его характере. Плоды своих духовных исканий Чехов никогда не выносил на всеобщее обозрение, стараясь скрывать их от постороннего взгляда и отшучиваться. Он считал, что поиск Бога должен быть сокровенным, а не публичным: «Нужно верить в Бога, а если веры нет, то не занимать ее места

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
шумихой, а искать, искать, искать одиноко, один на один со своей совестью...»

И вот еще один небольшой нюанс. Врач, лечивший писателя в Ялте, упоминал, что тот «носил крестик на шее». Носил, стало быть, не напоказ, для себя, поскольку обнаружилась эта деталь только при врачебном осмотре. Известно, что Чехов органически не выносил неискренности и фальши. А следовательно, для такого человека, будь он действительно атеистом, ношение креста было бы невозможным...

Татьяна Клапчук  
Святая простота

Котцу Савве Жезлову, престарелому настоятелю Свято-Троицкой церкви в городе П., неожиданно-негаданно прикатил из Москвы сын его Александр, известный московский адвокат. Вдовый и одинокий старик, узрев свое единственное детище, которого он не видал лет двенадцать – пятнадцать, с тех самых пор, как проводил его в университет, побледнел, затрясся всем телом и окаменел. Радостям и восторгам конца не было.

Вечером в день приезда отец и сын беседовали. Адвокат ел, пил и умилялся.

– А у тебя здесь хорошо, мило! – восторгался он, ерзая на стуле. – Уютно, тепло, и пахнет чем-то таким патриархальным. Ей-богу, хорошо!

Отец Савва, заложив руки назад и, видимо, ломаясь перед старухой-кухаркой, что у него такой взрослый и галантный сын, ходил около стола и старался в угоду гостю настроить себя на «ученый» лад.

– Такие-то, брат, факты... – говорил он. – Вышло именно так, как я желал в сердце своем: и ты и я – оба по образованной части пошли. Ты вот в университете, а я в Киевской академии кончил, да... По одной стезе, стало быть... Понимаем друг друга... Только вот не знаю, как нынче в академиях. В мое время сильно на классицизм налегали и даже древнееврейский язык учили. А теперь?

– Не знаю. А у тебя, батя, бедовая стерлядь. Уже сыт, но еще съем.

– Ешь, ешь. Тебе нужно больше есть, потому что у тебя труд умственный, а не физический... гм... не физический... Ты университетант, головой работаешь. Долго гостить будешь?

– Я не гостить приехал. Я, батя, к тебе случайно, на манер *deus ex machina*[1]. Приехал сюда на гастроли, вашего бывшего городского голову защищать. Вероятно, знаешь, завтра у вас суд будет.

– Тэк-с... Стало быть, ты по судебной части? Юристу?

– Да, я присяжный поверенный.

– Так... Помогай Бог. Чин у тебя какой?

– Ей-богу, не знаю, батя.

«Спросить бы о жалованье, – подумал отец Савва, – но по-ихнем у это вопрос нескромный... Судя по одежде и в рассуждении золотых часов, должно полагать, больше тысячи получает».

Старик и адвокат помолчали.

– Не знал я, что у тебя стерляди такие, а то бы я к тебе в прошлом год у приехал, – сказал сын. – В прошлом году я тут недалеко был, в вашем губернском городе. Смешные у вас тут города!

– Именно смешные... хоть плюнь! – согласился отец Савва. – Что поделаешь! Далеко от умственных центров... предрассудки. Не проникла еще цивилизация...

– Не в том дело... Ты послушай, какой анекдот со мной вышел. Захожу я в ваш губернском городе в театр, иду в кассу за билетом, а мне и говорят: спектакля не будет, потому что еще ни одного билета не продано! А я и спрашиваю: как велик ваш полный сбор? Говорят, триста рублей! Скажите, говорю, чтоб играли, я плачу триста... Заплатил от скуки триста рублей, а как стал глядеть их раздирательную

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
драму, то еще скучнее стало... Ха-ха...

Отец Савва недоверчиво поглядел на сына, поглядел на кухарку и хихикнул в кулак... «Вот врет-то!» – подумал он.

– Где же ты, Шуренька, взял эти триста рублей? – спросил он робко.

– Как где взял? Из своего кармана, конечно...

– Гм... Сколько же ты, извини за нескромный вопрос, жалованья получаешь?

– Как когда... В иной год тысяч тридцать заработаю, а в иной и двадцати не наберется... Годы разные бывают.

«Вот врет-то! Хо-хо-хо! Вот врет! – подумал отец Савва, хохоча и любовно глядя на посоловевшее лицо сына. – Брехлива молодость! Хо-хо-хо... Хватил – тридцать тысяч!»

– Невероятно, Сашенька! – сказал он. – Извини, но... хо-хо-хо... тридцать тысяч! За эти деньги два дома построить можно...

– Не веришь?

– Не то что не верю, а так... как бы этак выразиться... ты уж больно тово... Хо-хо-хо... Ну, ежели ты так много получаешь, то куда же ты деньги деваешь?

– Проживаю, батя... В столице, брат, кусается жизнь. Здесь нужно тысячу прожить, а там пять. Лошадей держу, в карты играю... покучиваю иногда.

– Это так... А ты бы копил!

– Нельзя... Не такие у меня нервы, чтоб копить... (адвокат вздохнул). Ничего с собой не подедаю. В прошлом году купил я себе на Полянке дом за шестьдесят тысяч. Все-таки подмога к старости! И что ж ты думаешь? Не прошло и двух месяцев после покупки, как пришлось заложить. Заложил и все денежки – фюйт! Овое в карты проиграл, овое пропил.

– Хо-хо-хо! Вот врет-то! – взвизгнул старик. – Занятно врет!

– Не вру я, батя.

– Да нешто можно дом проиграть или прокутить?

– Можно не то что дом, но и земной шар пропить. Завтра я с вашего головы пять тысяч сдеру, но чувствую, что не довезти мне их до Москвы. Такая у меня планида.

– Не планида, а планета, – поправил отец Савва, кашлянув и с достоинством поглядев на старуху-кухарку. – Извини, Шуренька, но я сомневаюсь в твоих словах. За что же ты получаешь такие суммы?

– За талант...

– Гм... Может, тысячи три и получаешь, а чтоб тридцать тысяч, или, скажем, дома покупать, извини... сомневаюсь. Но оставим эти пререкания. Теперь скажи мне, как у вас в Москве? Чай, весело? Знакомых у тебя много?

– Очень много. Вся Москва меня знает.

– Хо-хо-хо! Вот врет-то! Хо-хо! Чудеса и чудеса, брат, ты рассказываешь.

Долго еще в таком роде беседовали отец и сын. Адвокат рассказал еще про свою женитьбу с сорока-тысячным приданым, описал свои поездки в Нижний, свой развод, который стоил ему десять тысяч. Старик слушал, всплескивал руками, хохотал.

– Вот врет-то! Хо-хо-хо! Не знал я, Шуренька, что ты такой мастер балясы точить! Хо-хо-хо! Это я тебе не в осуждение. Мне занятно тебя слушать. Говори, говори.

– Но, однако, я заболтался, – кончил адвокат, вставая из-за стола. – Завтра

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
разбирательство, а я еще дела не читал. Прощай.

Проводив сына в свою спальню, отец Савва предался восторгам.

– Каков, а? Видала? – за шептал он кухарке. – То то вот и есть... Университант, гуманный, эмансипе, а не устыдился старика посетить. Забыл отца и вдруг вспомнил. Взял да и вспомнил. Дай, подумал, своего старого хрена вспомню! Хо-хо-хо. Хороший сын! Добрый сын! И ты заметила? Он со мной, как с ровней... своего брата ученого во мне видит. Понимает, стало быть. Жалко, дьякона мы не позвали, поглядел бы.

Изливши свою душу перед старухой, отец Савва на цыпочках подошел к своей спальней и заглянул в замочную скважину. Адвокат лежал на постели и, дымя сигарой, читал объемистую тетрадь. Возле него на столике стояла винная бутылка, которой раньше отец Савва не видел.

– Я на минуточку... поглядеть, удобно ли, – забормотал старик, вход я к сыну . – Удобно? Мягко? Да ты бы разделся.

Адвокат промычал и нахмурился. Отец Савва сел у его ног и задумался.

– Так-с... – начал он после некоторого молчания. – Я все про твои разговоры думаю. С одной стороны, благодарю за то, что повеселил старика, с другой же стороны, как отец и... и образованный человек, не могу умолчать и воздержаться от замечания. Ты, я знаю, шутил за ужином, но ведь, знаешь, как вера, так и наука осудили ложь даже в шутку. Кгм... Кашель у меня. Кгм... Извини, но я как отец. Это у тебя откуда же вино?

– Это я с собой привез. Хочешь? Вино хорошее, восемь рублей бутылка.

– Восемь? Вот врет-то! – всплеснул руками отец Савва. – Хо-хо-хо! Да за что тут восемь рублей платить? Хо-хо-хо! Я тебе самого наилучшего вина за рубль куплю. Хо-хо-хо!

– Ну, маршируй, старче, ты мне мешаешь... Айда!

Старик, хихикая и всплескивая руками, вышел и тихо затворил за собою дверь. В полночь, прочитав «правила» и заказав старухе завтрашний обед, отец Савва еще раз заглянул в комнату сына.

Сын продолжал читать, пить и дымить.

– Спать пора... раздевайся и туши свечку... – сказал старик, внося в комнату сына запах ладана и свечной гари. – Уже двенадцать часов... Ты это вторую бутылку? Ого!

– Без вина нельзя, батя... Не возбудишь себя, дела не сделаешь.

Савва сел на кровать, помолчал и начал:

– Такая, брат, история... М-да... Не знаю, буду ли жив, увижу ли тебя еще раз, а потому лучше, ежели сегодня преподам тебе завет мой... Видишь ли... За все время сорокалетнего служения моего скопил я тебе полторы тысячи денег. Когда умру, возьми их, но...

Отец Савва торжественно высморкался и продолжал:

– Но не транжирь их и храни... И, прошу тебя, после моей смерти пошли племяннице Вареньке сто рублей. Если не пожалеешь, то и Зинаиде рублей двадцать пошли. Они сироты.

– Ты им пошли все полторы тысячи... Они мне не нужны, батя...

– Врешь?

– Серьезно... Все равно растрянжирю.

– Гм... Ведь я их копил! – обиделся Савва. – Каждую копейку для тебя складывал...

– Изволь, под стекло я положу твои деньги, как знак родительской любви, но так они мне не нужны... Полторы тысячи – фи!

– Ну, как знаешь... Знал бы я, не хранил, не лелеял... Спи!

Отец Савва перекрестил адвоката и вышел. Он был слегка обижен... Небрежное, безразличное отношение сына к его сорокалетним сбережениям его сконфузило. Но чувство обиды и конфуза скоро прошло... Старика опять потянуло к сыну поболтать, поговорить «по-ученому», вспомнить былое, но уже не хватило смелости обеспокоить занятого адвоката. Он ходил, ходил по темным комнатам, думал, думал и пошел в переднюю поглядеть на шубу сына. Не помня себя от родительского восторга, он охватил обеими руками шубу и принялся обнимать ее, целовать, крестить, словно это была не шуба, а сам сын, «университант»... Спать он не мог.

1885

Горе

Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу. Нужно ему проехать верст тридцать, а между тем дорога ужасная, с которой не справиться казенному почтарю, а не то что такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий, холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба, или с земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса, а когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, тогда не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и подергиванье головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на облучке и то и дело хлещет по лошадиной спине.

– Ты, Матрена, не плачь... – бормочет он. – Потерпи малость. В больницу, Бог даст, приедем, и мигом у тебя, это самое... Даст тебе Павел Иванович капелек, или кровь пустить прикажет, или, может, милости его угодно будет спиртиком каким тебя растереть, оно и тово... оттянет от бока. Павел Иванович постарается... Покричит, ногами потопочет, а уж постарается... Славный господин, обходительный, дай Бог ему здоровья... Сейчас, как приедем, перво-наперво выскочит из своей фатеры и начнет чертей перебирать. «Как? Почему такое? – закричит. – Почему не вовремя приехал? Нешто я собака какая, чтоб цельный день с вами, чертями, возиться? Почему утром не приехал? Вон! Чтоб и духу твоего не было. Завтра приезжай!» А я и скажу: «Господин доктор! Павел Иванович! Ваше высокоблагородие!» Да поезжай же ты, чтоб тебе пусто было, черт! Но!

Токарь хлещет по лошаденке и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос:

– «Ваше высокоблагородие! Истинно, как перед Богом... вот вам крест, выехал я чуть свет. Где ж тут к сроку поспеть, ежели Господь... Мать Божия... прогневался и метель такую послал? Сами изволите видеть... Какая лошадь поблагороднее, и та не выедет, а у меня, сами изволите видеть, не лошадь, а срамота!» А Павел Иванович нахмурится и закричит: «Знаем вас! Завсегда оправдание найдете! Особливо ты, Гришка! Давно тебя знаю! Небось раз пять в кабаке заезжал!» А я ему: «Ваше высокоблагородие! Да нешто я злодей какой или нехристь? Старуха душу Богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать! Что вы, помилуйте! Чтоб им пусто было, кабакам этим!» Тогда Павел Иванович прикажет тебя в больницу снести. А я в ноги... «Павел Иванович! Ваше высокоблагородие! Благодарим вас всепокорно! Простите нас, дураков, анафемов, не обессудьте нас, мужиков! Нас бы в три шеи надо, а вы изволите беспокоиться, ножки свои в снег марать!» А Павел Иванович взглянет этак, словно ударить захочет, и скажет: «Чем в ноги-то бухать, ты бы лучше, дурак, водки не лопал да старуху жалел. Пороть тебя надо!» – «Истинно пороть, Павел Иванович, побей меня Бог, пороть! А как же нам в ноги не кланяться, ежели благодетели вы наши, отцы родные? Ваше высокоблагородие! Верно слово... вот как перед Богом... плюньте тогда в глаза, ежели обману: как только моя Матрена, это самое, выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то все, что соизволите приказать, все для вашей милости сделаю! Портсигарчик, ежели желаете, из карельской березы... шары для крокета, кегли могу выточить самые заграничные... все для вас сделаю! Ни копейки с вас не возьму! В Москве бы с вас за такой портсигарчик четыре рубля взяли, а я ни копейки». Доктор засмеется и скажет: «Ну, ладно, ладно... Чувствую! Только жалко, что ты пьяница...» Я, брат старуха, понимаю, как с господами надо. Нет того господина, чтоб я с ним не сумел

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
поговорить. Только привел бы Бог с дороги не сбиться. Ишь метет! Все глаза запорошило.

И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтоб хоть немного заглушить свое тяжелое чувство. Слов на языке много, но мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, неожиданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить. Жил доселе безмятежно, ровно, в пьяном полузабытьи, не зная ни горя, ни радостей, и вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль. Беспечный лежебока и пьянчужка очутился ни с того ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой.

Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера. Когда вчера вечером воротился он домой, по обыкновению пьяненьким, и по застарелой привычке начал браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего буяна так, как раньше никогда не глядела. Обыкновенно выражение ее старческих глаз было мученическое, кроткое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят, теперь же она глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие. С этих странных, нехороших глаз и началось горе. Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу, в надежде, что Павел Иванович порохами и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд.

– Ты же, Матрена, тово... – бормочет он. – Ежели Павел Иванович спросит, бил я тебя или нет, говори: никак нет! А я тебя не буду больше бить. Вот те крест. Да нешто я бил тебя по злобе? Бил так, зря. Я тебя жалею. Другому бы и горя мало, а я вот везу... стараюсь. А метет-то, метет! Господи, Твоя воля! Привел бы только Бог с дороги не сбиться... Что, болит бок? Матрена, что ж ты молчишь? Я тебя спрашиваю: болит бок?

Странно ему кажется, что на лице у старухи не тает снег, странно, что само лицо как-то особенно вытянулось, приняло бледно-серый, грязно-восковой цвет и стало строгим, серьезным.

– Ну и дура! – бормочет токарь. – Я тебе по совести, как перед Богом... а ты, тово... Ну и дура! Возьму вот и не повезу к Павлу Ивановичу!

Токарь опускает вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху он не решается: страшно! Задать ей вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтоб покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает как плеть.

– Померла, стало быть! Комиссия!

И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает: как на этом свете все быстро делается! Не успело еще начаться его горе, как уж готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он с нею сорок лет, но ведь эти сорок лет прошли, словно в тумане. За пьянством, драками и нуждой не чувствовалась жизнь. И, как назло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее, жить без нее не может, страшно виноват перед ней.

– А ведь она по миру ходила! – вспоминает он. – Сам я посылал ее хлеба у людей просить, комиссия! Ей бы, дуре, еще лет десяток прожить, а то небось думает, что я и взаправду такой. Мать Пресвятая, да куда же, к лешему, я это еду? Теперь не лечить надо, а хоронить. Поворачивай!

Токарь поворачивает назад и изо всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом становится все хуже и хуже. Теперь уже дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на молодую елку, темный предмет оцарапает руки токаря, мелькнет перед его глазами, и поле зрения опять становится белым, кружащимся.

«Жить бы сызнова...» – думает токарь.

Вспоминает он, что Матрена лет сорок тому назад была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали ее за него замуж потому, что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья, но беда в том, что он как напился после свадьбы, завалился на печку, так словно и до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит, а что было после свадьбы – хоть убей, ничего не

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
помнит, кроме разве того, что пил, лежал, дрался. Так и пропали сорок лет.

Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть. Наступают сумерки.

– Куда ж я еду? – спохватывается вдруг токарь. – Хоронить надо, а я в больницу... Ошалел словно!

Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади. Кобылка напрягает все свои силы и, фыркая, бежит мелкой рысцой. Токарь раз за разом хлещет ее по спине... Сзади слышится какой-то стук, и он, хоть не оглядывается, но знает, что это стучит голова покойницы о сани. А воздух все темнеет и темнеет, ветер становится холоднее и резче...

«Сызнова бы жить... – думает токарь. – Инструмент бы новый завести, заказы брать... деньги бы старухе отдавать... да!»

И вот он роняет вожжи. Ищет их, хочет поднять и никак не поднимет; руки не действуют...

«Все равно... – думает он, – сама лошадь пойдет, знает дорогу. Поспать бы теперь... Покуда там похороны или панихида, прилечь бы».

Токарь закрывает глаза и дремлет. Немного погодя он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу или скирду...

Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, но во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем двинуться с места... И он безмятежно засыпает.

Просыпается он в большой комнате с крашеными стенами. Из окон льет яркий солнечный свет. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием.

– Панихидку бы, братцы, по старухе! – говорит он. – Батюшке бы сказать...

– Ну, ладно, ладно! Лежи уж! – обрывает его чей-то голос.

– Батюшка! Павел Иванович! – удивляется токарь, видя перед собой доктора. – Вашескородие! Благодетель!

Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются.

– Ваше высокородие! Ноги же мои где? Где руки?

– Прощайся с руками и ногами... Отморозил! Ну, ну... чего же ты плачешь? Пожил, и слава Богу! Небось шесть десятков прожил – будет с тебя!

– Горе!.. Вашескородие, горе ведь! Простите великодушно! Еще бы годочков пять-шесть...

– Зачем?

– Лошадь-то чужая, отдать надо... Старуху хоронить... И как на этом свете все скоро делается! Ваше высокородие! Павел Иванович! Портсигарик из карельской березы наилучший! Крокетик выточу...

Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю – аминь!

1885

Тоска

Кому повем печаль мою?.. [2]

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он со гнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег...

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Его лошаденка тоже белая и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.

– Извозчик, на Выборгскую! – слышит Иона. – Извозчик!

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.

– На Выборгскую! – повторяет военный. – Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега... Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...

– Куда прешь, леший! – на первых же порах слышит Иона возгласы из темной, движущейся взад и вперед массы. – Куда черти несут? Права держи!

– Ты ездить не умеешь! Права держи! – сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

– Какие все подлецы! – острит военный. – Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.

– Что? – спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

– А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер.

– Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

– А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня полежал в больнице и помер... Божья воля.

– Сворачивай, дьявол! – раздается в потемках. – Пovýлазило, что ли, старый пес? Гляди глазами!

– Поезжай, поезжай... – говорит седок. – Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется... Мокрый снег опять красит на белом его и лошаденку. Проходит час, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

– Извозчик, к Полицейскому мосту! – кричит дребезжащим голосом горбач. – Троиш... двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены... Что рубль, что пятак – для него теперь все равно, были бы только седоки... Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

– Ну, погоняй! – дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. – Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти...

– Гы-ы... гы-ы... – хохочет Иона. – Какая есть...

– Ну ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? да? А по шее?..

– Голова трещит... – говорит один из длинных. – Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.

– Не понимаю, зачем врать! – сердится другой длинный. – Врет, как скотина.

– Накажи меня Бог, правда...

– Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.

– Гы-ы! – ухмыляется Иона. – Ве-еселые господа!

– Тьфу, чтоб тебя черти!.. – возмущается горбач. – Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобысни-ка ее кнутом! Но, черт! Но! Хорошенько ее!

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не раздражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:

– А у меня на этой неделе... тово... сын помер!

– Все помрем... – вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. – Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?

– А ты его легонечко подбодри... в шею!

– Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.

– Гы-ы... – смеется он. – Веселые господа... дай Бог здоровья!

– Извозчик, ты женат? – спрашивает длинный.

– Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена – сырая земля... Хи-хо-хо... Могила то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... Заместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну...

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава Богу, они, наконец, приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем

с огнем...

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

– Милый, который теперь час будет? – спрашивает он.

– Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай! Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи... Ему невольно.

«Ко двору, – думает он. – Ко двору!»

И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора Иона сидит уже около большой грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота... Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой...

«И на овес не выездил, – думает он. – Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен...»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крикает и тянется к ведру с водой.

– Пить захотел? – спрашивает Иона.

– Стало быть, пить!

– Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице... История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер... Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.

«Пойти лошадь поглядеть, – думает Иона. – Спать всегда успеешь... Небось выплещешься...»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...

– Жуешь? – спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. – Ну, жуй, жуй... Коли на овес не выехали, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...

Иона молчит некоторое время и продолжает:

– Так-то, брат кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина...

Иона увлекается и рассказывает ей все...

1886

Кошмар

Непременный член по крестьянским делам присутствия Кунин, молодой человек, лет тридцати, вернувшись из Петербурга в свое Борисово, послал первым делом верхового в Синьково за тамошним священником, отцом Яковом Смирновым. Часов через пять отец Яков явился.

– Очень рад познакомиться! – встретил его в передней Кунин. – Уж год, как живу и служу здесь, пора бы, кажется, быть знакомыми. Милости просим! Но, однако... какой вы молодой! – удивился Кунин. – Сколько вам лет?

– Двадцать восемь-с... – проговорил отец Яков, слабо пожимая протянутую руку и, неизвестно отчего, краснея.

Кунин ввел гостя к себе в кабинет и принялся его рассматривать.

«Какое аляповатое, бабье лицо!» – подумал он.

Действительно, в лице отца Якова было очень много «бабьего»: вздернутый нос, ярко-красные щеки и большие серо-голубые глаза с жидкими, едва заметными бровями. Длинные рыжие волосы, сухие и гладкие, спускались на плечи прямыми палками. Усы еще только начинали формироваться в настоящие, мужские усы, а бородка принадлежала к тому сорту никуда не годных бород, который у семинаристов почему-то называется «скоктанием» [3]: реденькая, сильно просвечивающая; погладить и почесать ее гребнем нельзя, можно разве только пощипать... Вся эта скудная растительность сидела неравномерно, кустиками, словно отец Яков, вздумав загримироваться священником и начав приклеивать бороду, был прерван на половине дела. На нем была ряска, цвета жидкого цикорного кофе, с большими латками на обоих локтях.

«Странный субъект... – подумал Кунин, глядя на его полы, обрызганные грязью. – Приходит в дом первый раз и не может поприличней одеться».

– Садитесь, батюшка, – начал он более развязно, чем приветливо, придвигая к столу кресло. – Садитесь же, прошу вас!

Отец Яков кашлянул в кулак, неловко опустился на край кресла и положил ладони на колени. Малорослый, узкогрудый, с потом и краской на лице, он на первых же порах произвел на Кунина самое неприятное впечатление. Ранее Кунин никак не мог думать, что на Руси есть такие несолидные и жалкие на вид священники, а в позе отца Якова, в этом держании ладоней на коленях и в сидении на краешке ему виделось отсутствие достоинства и даже подхалимство.

– Я, батюшка, пригласил вас по делу... – начал Кунин, откидываясь на спинку кресла. – На мою долю выпала приятная обязанность помочь вам в одном вашем полезном предприятии... Дело в том, что, вернувшись из Петербурга, я нашел у себя на столе письмо от предводителя. Егор Дмитриевич предлагает мне взять под свое попечительство церковно-приходскую школу, которая открывается у вас в Синькове. Я, батюшка, очень рад, всей душой... Даже больше: я с восторгом принимаю это предложение!

Кунин поднялся и заходил по кабинету.

– Конечно, и Егору Дмитриевичу, и, вероятно, вам известно, что большими средствами я не располагаю. Имение мое заложено, и живу я исключительно только на жалованье непрямого члена. Стало быть, на большую помощь вы рассчитывать не можете, но что в моих силах, то я все сделаю... А когда, батюшка, думаете открыть школу?

– Когда будут деньги... – ответил отец Яков.

– Теперь же вы располагаете какими-нибудь средствами?

– Почти никакими-с... Мужики постановили на сходе платить ежегодно по тридцати копеек с каждой мужской души, но ведь это только обещание! А на первое обзаведение нужно, по крайней мере, рублей двести...

– М-да... К сожалению, у меня теперь нет этой суммы... – вздохнул Кунин. – В поездке я весь истратился и... задолжал даже. Давайте общими силами придумаем что-нибудь.

Кунин стал вслух придумывать. Он высказывал свои соображения и следил за лицом отца Якова, ища на нем одобрения или согласия. Но лицо это было бесстрастно, неподвижно и ничего не выражало, кроме застенчивой робости и беспокойства. Глядя на него, можно было подумать, что Кунин говорил о таких мудреных вещах, которых

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
отец Яков не понимал, слушал только из деликатности и притом боялся, чтобы его не уличили в непонимании.

«Малый, как видно, не из очень умных... – думал Кунин. – Не в меру робок и глуповат».

Несколько оживился и даже улыбнулся отец Яков только тогда, когда в кабинет вошел лакей и внес на подносе два стакана чаю и сухарницу с крендельками. Он взял свой стакан и тотчас же принялся пить.

– Не написать ли нам преосвященному? – продолжал соображать вслух Кунин. – Ведь, собственно говоря, не земство, не мы, а высшие духовные власти подняли вопрос о церковно-приходских школах. Они должны, по-настоящему, и средства указать. Мне помнится, я читал, что на этот счет даже была ассигнована сумма какая-то. Вам ничего не известно?

Отец Яков так погрузился в чаепитие, что не сразу ответил на этот вопрос. Он поднял на Кунина свои серо-голубые глаза, подумал и, точно вспомнив его вопрос, отрицательно мотнул головой. По некрасивому лицу его от уха до уха разливалось выражение удовольствия и самого обыденного, прозаического аппетита. Он пил и смаковал каждый глоток. Выпив все до последней капли, он поставил свой стакан на стол, потом взял назад этот стакан, оглядел его дно и опять поставил. Выражение удовольствия сползло с лица... Далее Кунин видел, как его гость взял из сухарницы один кренделек, откусил от него кусочек, потом повертел в руках и быстро сунул его себе в карман.

«Ну, уж это совсем не по-иерейски! – подумал Кунин, брезгливо пожимая плечами. – Что это, поповская жадность или ребячество?»

Дав гостю выпить еще один стакан чаю и проводив его до передней, Кунин лег на софу и весь отдался неприятному чувству, навеянному на него посещением отца Якова.

«Какой странный, дикий человек! – думал он. – Грязен, неряха, груб, глуп и, наверное, пьяница...»

Боже мой, и это священник, духовный отец! Это учитель народа! Воображаю, сколько иронии должно быть в голосе дьякона, возглашающего ему перед каждой обедней: „Благослови, владыко!“ Хорош владыко! Владыко, не имеющий ни капли достоинства, невоспитанный, прячущий сухари в карманы, как школьник... Фи! Господи, в каком месте были глаза у архиерея, когда он посвящал этого человека? За кого они народ считают, если дают ему таких учителей? Тут нужны люди, которые...»

И Кунин задумался о том, кого должны изображать из себя русские священники...

«Будь, например, я попом... Образованный и любящий свое дело поп много может сделать... У меня давно бы уже была открыта школа. А проповедь? Если поп искренен и вдохновлен любовью к своему делу, то какие чудные, зажигательные проповеди он может говорить!»

Кунин закрыл глаза и стал мысленно слагать проповедь. Немного погодя он сидел за столом и быстро записывал.

«Дам тому рыжему, пусть прочтет в церкви...» – думал он.

В ближайшее воскресенье, утром, Кунин ехал в Синьково покончить с вопросом о школе и кстати познакомиться с церковью, прихожанином которой он считался. Несмотря на распутицу, утро было великолепное. Солнце ярко светило и резало своими лучами кое-где белевшие пласты залежавшегося снега. Снег на прощанье с землей переливал такими алмазами, что больно было глядеть, а около него спешила зеленеть молодая озимь. Грачи солидно носились над землей. Летит грач, опустится к земле и, прежде чем стать прочно на ноги, несколько раз подпрыгнет...

Деревянная церковь, к которой подъехал Кунин, была ветха и сера; колонки у паперти, когда-то выкрашенные в белую краску, теперь совершенно облупились и походили на две некрасивые оглобли. Образ над дверью глядел сплошным темным пятном. Но эта бедность тронула и умилила Кунина. Скромно опустив глаза, он вошел в церковь и остановился у двери. Служба еще только началась. Старый, в

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
дугу согнувшийся дьячок глухим, неразборчивым тенором читал часы. Отец Яков, служивший без дьякона, ходил по церкви и кадил. Если б не смирение, каким проникся Кунин, входя в нищую церковь, то при виде отца Якова он непременно бы улыбнулся. На малорослом иерее была помятая и длинная-предлинная риза из какой-то потертой желтой материи. Нижний край ризы волочился по земле.

Церковь была не полна. Кунина, при взгляде на прихожан, поразило на первых порах одно странное обстоятельство: он увидел только стариков и детей... Где же рабочий возраст? Где юность и мужество? Но, постояв немного и взглядевшись попристальной в старческие лица, Кунин увидел, что молодых он принял за старых. Впрочем, этому маленькому оптическому обману он не придал особого значения.

Внутри церковь была так же ветха и сера, как и снаружи. На иконостасе и на бурых стенах не было ни одного местечка, которого бы не закоптило и не исцарапало время. Окон было много, но общий колорит казался серым, и поэтому в церкви стояли сумерки.

«Кто чист душою, тому хорошо здесь молиться... – думал Кунин. – Как в Риме у св. Петра поражает величие, так здесь трогают эти смирение и простота».

Но молитвенное настроение его рассеялось в дым, когда отец Яков вошел в алтарь и начал обедню. По молодости лет, попав в священники прямо с семинарской скамьи, отец Яков не успел еще усвоить себе определенную манеру служить. Читая, он как будто выбирал, на каком голосе ему остановиться, на высоком теноре или жидком баске; кланялся он неумело, ходил быстро, царские врата открывал и закрывал порывисто... Старый дьячок, очевидно больной и глухой, плохо слышал его возгласы, отчего не обходилось без маленьких недоразумений. Не успеет отец Яков прочесть, что нужно, а уж дьячок поет свое, или же отец Яков давно уже кончил, а старик тянется ухом в сторону алтаря, прислушивается и молчит, пока его не дернут за полу. У старика был глухой, болезненный голос, с одышкой, дрожащий и шепелявый... В довершение неблаголепия дьячку подтягивал очень маленький мальчик, голова которого едва виднелась из-за перилы клироса. Мальчик пел высоким визгливым дискантом и словно старался не попадать в тон. Кунин постоял немного, послушал и вышел покурить. Он был уже разочарован и почти с неприязнью глядел на серую церковь.

– Жалуются на падение в народе религиозного чувства... – вздохнул он. – Еще бы! Они бы еще больше понасажали сюда таких попов!

Раза три потом входил Кунин в церковь, и всякий раз его сильно потягивало вон на свежий воздух. Дождавшись конца обедни, он отправился к отцу Якову. Дом священника снаружи ничем не отличался от крестьянских изб, только солома на крыше лежала ровнее да на окнах белели занавесочки. Отец Яков ввел Кунина в маленькую светлую комнату с глиняным полом и со стенами, оклеенными дешевыми обоями; несмотря на кое-какие потуги к роскоши, вроде фотографий в рамках да часов с прицепленными к гире ножницами, обстановка поражала своею скудостью. Глядя на мебель, можно было подумать, что отец Яков ходил по дворам и собирал ее по частям: в одном месте дали ему круглый стол на трех ногах, в другом – табурет, в третьем – стул с сильно загнутой назад спинкой, в четвертом – стул с прямой спинкой, но с вдавненным сиденьем, а в пятом – расщедрились и дали какое-то подобие дивана с плоской спинкой и с решетчатым сиденьем. Это подобие было выкрашено в темно-красный цвет и сильно пахло краской. Кунин сначала хотел сесть на один из стульев, но подумал и сел на табурет.

– Вы это первый раз в нашем храме? – спросил отец Яков, вешая свою шляпу на большой уродливый гвоздик.

– Да, в первый. Вот что, батюшка... Прежде чем мы приступим к делу, угостите меня чаем, а то у меня вся душа высохла.

Отец Яков заморгал глазами, крякнул и пошел за перегородку. Послышалось шушуканье...

«Должно быть, с попадьей... – подумал Кунин. – Интересно бы поглядеть, какая у этого рыжего попадьи...»

Немного погодя отец Яков вышел из-за перегородки красный, потный и, сияясь улыбнуться, сел против Кунина на край дивана.

– Сейчас поставят самовар, – сказал он, не глядя на своего гостя.

«Боже мой, они еще самовара не ставили! – ужаснулся про себя Кунин. – Изволь теперь ждать!»

– Я вам привез, – сказал он, – черновое письмо, которое я написал архиерею. Прочту после чая... Может быть, вы найдете что-нибудь добавить...

– Хорошо-с.

Наступило молчание. Отец Яков пугливо покосился на перегородку, поправил волосы и высморкался.

– Погода чудесная-с... – сказал он.

– Да. Между прочим, интересную я вещь прочел вчера... Вольское земство постановило передать все свои школы духовенству. Это характерно.

Кунин поднялся, зашагал по глиняному полу и начал высказывать свои соображения.

– Это ничего, – говорил он, – лишь бы только духовенство стояло на высоте своего призвания и ясно сознавало свои задачи. К моему несчастью, я знаю священников, которые, по своему развитию и нравственным качествам, не годятся в военные писаря, а не то что в священники. А вы согласитесь, плохой учитель принесет школе гораздо меньше вреда, чем плохой священник.

Кунин взглянул на отца Якова. Тот сидел согнувшись, о чем-то усердно думал и, по-видимому, не слушал гостя.

– Яша, поди-ка сюда! – послышался женский голос из-за перегородки.

Отец Яков встрепнулся и пошел за перегородку. Опять началось шушуканье. Кунина защемила тоска по чаю.

«Нет, не дождусь я тут чаю! – подумал он, глядя на часы. – Да кажется, тут я не совсем желанный гость. Хозяин не соблаговолил со мной и одного слова сказать, а только сидит да глазами хлопает».

Кунин взялся за шляпу, дождался отца Якова и простился с ним.

«Даром только утро пропало! – злился он дорогой. – Бревно! Пень! Школой он так же интересуется, как я прошлым годом снегом. Нет, не сварю я с ним каши! Ничего у нас с ним не выйдет! Если бы предводитель знал, какой здесь поп, то не спешил бы хлопотать о школе. Надо сперва о хорошем попе позаботиться, а потом уж о школе!»

Кунин теперь почти ненавидел отца Якова. Этот человек, его жалкая, карикатурная фигура, в длинной, помятой ризе, его бабье лицо, манера служить, образ жизни и канцелярская, застенчивая почтительность оскорбляли тот небольшой кусочек религиозного чувства, который оставался еще в груди Кунина и тихо теплился наряду с другими нянюшкиными сказками. А холодность и невнимание, с которыми он встретил искреннее, горячее участие Кунина в его же собственном деле, было трудно вынести самолюбью..

Вечером того же дня Кунин долго ходил по комнатам и думал, потом решительно сел за стол и написал архиерею письмо. Попросив денег для школы и благословения, он, между прочим, искренно, по-сыновьи, изложил свое мнение о синьковском священнике. «Он молод, – написал он, – недостаточно развит, кажется, ведет нетрезвую жизнь и вообще не удовлетворяет тем требованиям, которые веками сложились у русского народа по отношению к его пастырям». Написав это письмо, Кунин легко вздохнул и лег спать с сознанием, что он сделал доброе дело.

В понедельник утром, когда он еще лежал в постели, ему доложили о приходе отца Якова. Вставать ему не хотелось, и он велел сказать, что его нет дома. Во вторник уехал он на съезд и, вернувшись в субботу, узнал от прислуги, что без него ежедневно приходил отец Яков.

«Как, однако, ему мои крендельки понравились!» – подумал Кунин.

В воскресенье, перед вечером, пришел отец Яков. На этот раз не только полы, но даже и шляпа его была обрызгана грязью. Как и в первое свое посещение, он был красен и потен, сел, как и тогда, на краешек кресла. Кунин порешил не начинать разговора о школе, не метать бисера.

– Я вам, Павел Михайлович, списочек учебных пособий принес... – начал отец Яков.

– Благодарю.

Но по всему видно было, что отец Яков не из-за списочка пришел. Вся его фигура выражала сильное смущение, но в то же время на лице была написана решимость, как у человека, внезапно озаренного идеей. Он порывался сказать что-то важное, крайне нужное и силился теперь побороть свою робость.

«Что же он молчит? – злился Кунин. – Расселся тут! Мне ведь некогда возиться с ним!»

Чтобы хоть чем-нибудь сгладить неловкость своего молчания и скрыть борьбу, происходившую в нем, священник начал принужденно улыбаться, и эта улыбка, долгая, вымученная сквозь пот и краску лица, не вязавшаяся с неподвижным взглядом серо-голубых глаз, заставила Кунина отвернуться. Ему стало противно.

– Извините, батюшка, мне нужно ехать... – сказал он.

Отец Яков встрепенулся, как сонный человек, которого ударили, и, не переставая улыбаться, начал в смущении запахивать полы своей рясы. При всем отвращении к этому человеку Кунину вдруг стало жаль его, и он захотел смягчить свою жестокость.

– Прошу, батюшка, в другой раз... – сказал он, – а на прощанье у меня к вам будет просьба... Тут как-то я вдохновился, знаете, и написал две проповеди... Отдаю на ваше рассмотрение... Коли сгодятся, прочтите.

– Хорошо-с... – сказал отец Яков, покрывая ладонью лежавшие на столе проповеди Кунина. – Я возьму-с...

Постояв немного, помявшись и все еще запахивая ряску, он вдруг перестал принужденно улыбаться и решительно поднял голову.

– Павел Михайлович, – сказал он, видимо стараясь говорить громко и явственно.

– Что прикажете?

– Я слышал, что вы изволили, тово... рассчитать своего писаря и... и ищете теперь нового...

– Да... А вы имеете порекомендовать кого-нибудь?

– Я, видите ли... я... Не можете ли вы отдать эту должность... мне?

– Да разве вы бросаете священство? – изумился Кунин.

– Нет, нет, – быстро проговорил отец Яков, почему-то бледнея и дрожа всем телом. – Боже меня сохрани! Ежели сомневаетесь, то не нужно, не нужно. Я ведь это как бы между делом... чтоб дивиденды свои увеличить... Не нужно, не беспокойтесь!

– Гм... дивиденды... Но ведь я плачу писарю только двадцать рублей в месяц!

– Господи, да я и десять взял бы! – прошептал отец Яков, оглядываясь. – И десяти довольно! Вы... вы изумляетесь, и все изумляются. Жадный поп, алчный, куда он деньги деваает? Я и сам это чувствую, что жадный... и казню себя, осуждаю... людям в глаза глядеть совестно... Вам, Павел Михайлович, я по совести... привожу Истинного Бога в свидетели...

Отец Яков перевел дух и продолжал:

– Приготовил я вам дорогой целую исповедь, но... все забыл, не подберу теперь

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
слов. Я получаю в год с прихода сто пятьдесят рублей, и все... удивляются, куда я эти деньги деваю... Но я вам все по совести объясню... Сорок рублей в год я за брата Петра в духовное училище взношу. Он там на всем готовом, но бумага и перья мои...

– Ах, верю, верю! Ну, к чему все это? – замахал рукой Кунин, чувствуя страшную тяжесть от этой откровенности гостя и не зная, куда деваться от слезливого блеска его глаз.

– Потом-с, я еще в консисторию за место свое не все еще выплатил. За место с меня двести рублей положили, чтоб я по десяти в месяц выплачивал... Судите же теперь, что остается? А ведь, кроме того, я должен выдавать отцу Авраамию, по крайней мере, хоть по три рубля в месяц!

– Какому отцу Авраамию?

– Отцу Авраамию, что до меня в Синькове священником был. Его лишили места за... слабость, а ведь он в Синькове и теперь живет! Куда ему деваться? Кто его кормить станет? Хоть он и стар, но ведь ему и угол, и хлеба, и одежду надо! Не могу я допустить, чтоб он, при своем сане, пошел милостыню просить! Мне ведь грех будет, ежели что! Мне грех! Он... всем задолжал, а ведь мне грех, что я за него не плачу.

Отец Яков рванулся с места и, безумно глядя на пол, зашагал из угла в угол.

– Боже мой! Боже мой! – забормотал он, то поднимая руки, то опуская. – Спаси нас, Господи, и помилуй! И зачем было такой сан на себя принимать, ежели ты маловер и сил у тебя нет? Нет конца моему отчаянию! Спаси, Царица Небесная.

– Успокойтесь, батюшка! – сказал Кунин.

– Замучил голод, Павел Михайлович! – продолжал отец Яков. – Извините великодушно, но нет уже сил моих... Я знаю, попроси я, поклонись, и всякий поможет, но... не могу! Совестно мне! Как я стану у мужиков просить? Вы служите тут и сами видите... Какая рука подыметься просить у нищего? А просить у кого побогаче, у помещиков, не могу! Гордость! Совестно!

Отец Яков махнул рукой и нервно зачесал обеими руками голову.

– Совестно! Боже, как совестно! Не могу, гордец, чтоб люди мою бедность видели! Когда вы меня посетили, то ведь чаю вовсе не было, Павел Михайлович! Ни соринки его не было, а ведь открыться перед вами гордость помешала! Стыжусь своей одежды, вот этих латок... риз своих стыжусь, голода... А прилична ли гордость священнику?

Отец Яков остановился посреди кабинета и, словно не замечая присутствия Кунина, стал рассуждать с самим собой.

– Ну, положим, я снесу и голод, и срам, но ведь у меня, Господи, еще попадья есть! Ведь я ее из хорошего дома взял! Она белоручка и нежная, привыкла и к чаю, и к белой булке, и к простыням... Она у родителей на фортепьянах играла... Молодая, еще и двадцати лет нет... Хочется небось и нарядиться, и пошалить, и в гости съездить... А она у меня... хуже кухарки всякой, стыдно на улицу показать. Боже мой, Боже мой! Только и утехи у нее, что принесу из гостей яблочек или какой кренделечек...

Отец Яков опять обеими руками зачесал голову.

– И выходит у нас не любовь, а жалость... Не могу видеть ее без сострадания! И что оно такое, Господи, делается на свете. Такое делается, что если в газеты написать, то не поверят люди... И когда всему этому конец будет!

– Полноте, батюшка! – почти крикнул Кунин, пугаясь его тона. – Зачем так мрачно смотреть на жизнь?

– Извините великодушно, Павел Михайлович... – забормотал отец Яков, как пьяный. – Извините, все это... пустое, и вы не обращайте внимания... А только я себя виню и буду винить... Буду!

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
Отец Яков оглянулся и зашептал:

– Как-то рано утром иду я из Синькова в Лучково; гляжу, а на берегу стоит какая-то женщина и что-то делает... Подхожу ближе и глазам своим не верю... Ужас! Сидит жена доктора, Ивана Сергеича, и белье полощет... Докторша, в институте кончила! Значит, чтоб люди не видели, норовила пораньше встать и за версту от деревни уйти... Неодолимая гордость! Как увидела, что я около нее и бедность ее заметил, покраснела вся... Я оторопел, испугался, подбежал к ней, хочу помочь ей, а она белье от меня прячет, боится, чтоб я ее рваных сорочек не увидел...

– Все это как-то даже невероятно... – сказал Кунин, садясь и почти с ужасом глядя на бледное лицо отца Якова.

– Именно, невероятно! Никогда, Павел Михайлович, этого не было, чтоб докторши на реке белье полоскали! Ни в каких странах этого нет! Мне бы, как пастырю и отцу духовному, не допускать бы ее до этого, но что я могу сделать? Что? Сам же еще норовлю у ее мужа даром лечиться! Верно вы изволили определить, что все это невероятно! Глазам не верится! Во время обедни, знаете, выглянешь из алтаря, да как увидишь свою публику, голодного Авраамия и попадью, да как вспомнишь про докторшу, как у нее от холодной воды руки посинели, то, верите ли, забудешься и стоишь, как дурак, в бесчувствии, пока пономарь не окликнет... Ужас!

Отец Яков опять заходил.

– Господи Иисусе! – замахал он руками. – Святые угодники! И служить даже не могу... Вы вот про школу мне говорите, а я, как истукан, ничего не понимаю и только об еде думаю... Даже перед престолом... Впрочем... что же это я? – спохватился отец Яков. – Вам уезжать нужно. Простите-с, я ведь это так... извините...

Кунин молча пожал руку отца Якова, проводил его до передней и, вернувшись в свой кабинет, остановился перед окном. Он видел, как отец Яков вышел из дому, нахлобучил на голову свою широкополую ржавую шляпу и тихо, понуриив голову, точно стыдясь своей откровенности, пошел по дороге.

«А его лошади не видно», – подумал Кунин.

Помыслить, что священник все эти дни ходил к нему пешком, Кунин боялся: до Синькова было семь-восемь верст, а грязь на дороге стояла невылазная. Далее Кунин видел, как кучер Андрей и мальчик Парамон, прыгая через лужи и обрызгивая отца Якова грязью, подбежали к нему под благословение. Отец Яков снял шляпу и медленно благословил Андрея, потом благословил и погладил по голове мальчика.

Кунин провел рукой по глазам, и ему показалось, что рука его от этого стала мокрой. Он отошел от окна и мутными глазами обвел комнату, в которой ему еще слышался робкий, придушенный голос... Он взглянул на стол... К счастью, отец Яков забыл второпях взять с собой его проповеди... Кунин подскочил к ним, изорвал их в клочки и с отвращением швырнул под стол.

– И я не знал! – простонал он, падая на софу. – Я, который уже более года служу здесь непременным членом, почетным мировым судьей, членом училищного совета! Слепая кукла, фат! Скорей к ним на помощь! Скорей!

Он мучительно ворочался, стискивал виски и напрягал свой ум.

– Получу двадцатого числа жалованья двести рублей... Под благовидным предлогом суну и ему и докторше... Его позову молебен служить, а для доктора фиктивно заболею... Таким образом, не оскорблю их гордости. И Авраамию помогу...

Он рассчитывал по пальцам свои деньги и боялся себе сознаться, что этих двухсот рублей едва хватит ему, чтобы заплатить управляющему, прислуге, тому мужику, который привозит мясо... Поневоле пришлось вспомнить то недалекое прошлое, когда неразумно проживалось отцовское добро, когда, будучи еще двадцатилетним молокососом, он дарил проституткам дорогие веера, платил извозчику Кузьме по десяти рублей в день, подносил из тщеславия актрисам подарки. Ах, как бы пригодились теперь все эти разбросанные рубли, трехрублевки, десятки!

«Отец Авраамий проедает в месяц только три рубля, – думал Кунин. – За рубль попадья может себе сорочку сшить, а докторша прачку нанять. Но я все-таки

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
помогу! Обязательно помогу!»

Тут вдруг Кунин вспомнил донос, который написал он архиерею, и его всего скорчило, как от невзначай налетевшего холода. Это воспоминание наполнило всю его душу чувством гнетущего стыда перед самим собой и перед невидимой правдой...

Так началась и завершилась искренняя потуга к полезной деятельности одного из благонамеренных, но чересчур сытых и не рассуждающих людей.

1886

На пути

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана...

М. Лермонтов

В комнате, которую сам содержатель трактира, казак Семен Чистоплюй, называет «проезжающей», то есть назначенной исключительно для проезжих, за большим некрашеным столом сидел высокий широкоплечий мужчина лет сорока. Облокотившись о стол и подперев голову кулаком, он спал. Огарок сальной свечи, воткнутый в баночку из-под помады, освещал его русую бороду, толстый широкий нос, загорелые щеки, густые черные брови, нависшие над закрытыми глазами... И нос, и щеки, и брови, все черты, каждая в отдельности, были грубы и тяжелы, как мебель и печка в «проезжающей», но в общем они давали нечто гармоническое и даже красивое. Такова уж, как говорится, планида русского лица: чем крупнее и резче его черты, тем кажется оно мягче и добродушнее. Одет был мужчина в господский пиджак, поношенный, но обшитый новой широкой тесьмой, в плюшевую жилетку и широкие черные панталоны, засунутые в большие сапоги.

На одной из скамей, непрерывно тянувшихся вдоль стены, на меху лисьей шубы спала девочка лет восьми, в коричневом платьице и в длинных черных чулках. Лицо ее было бледно, волосы белокуры, плечи узки, все тело худо и жидко, но нос выдавался такой же толстой и некрасивой шишкой, как и у мужчины. Она спала крепко и не чувствовала, как полукруглая гребенка, свалившаяся с головы, резала ей щеку.

«Проезжающая» имела праздничный вид. В воздухе пахло свежевывмытыми полами, на веревке, которая тянулась диагонально через всю комнату, не висели, как всегда, тряпки, и в углу, над столом, клая красное пятно на образ Георгия Победоносца, теплилась лампадка. Соблюдая самую строгую и осторожную постепенность в переходе от Божественного к светскому, от образа, по обе стороны угла, тянулся ряд лубочных картин. При тусклом свете огарка и красной лампадки картины представляли из себя одну сплошную полосу, покрытую черными кляксами; когда же изразцовая печка, желая петь в один голос с погодой, с воем вдыхала в себя воздух, а поленья, точно очнувшись, вспыхивали ярким пламенем и сердито ворчали, тогда на бревенчатых стенах начинали прыгать румяные пятна, и можно было видеть, как над головой спавшего мужчины вырастали то старец Серафим, то шах Наср-Эддин, то жирный коричневый младенец, тарашивший глаза и шептавший что-то на ухо девице с необыкновенно тупым и равнодушным лицом...

На дворе шумела непогода. Что-то бешеное, злобное, но глубоко несчастное с яростью зверя металось вокруг трактира и старалось ворваться во внутрь. Хлопая дверями, стуча в окна и по крыше, царапая стены, оно то грозило, то умоляло, а то утихало ненадолго и потом с радостным, предательским воем врывалось в печную трубу, но тут поленья вспыхивали и огонь, как цепной пес, со злобой неся навстречу врагу, начиналась борьба, а после нее рыдания, визг, сердитый рев. Во всем этом слышались и злобствующая тоска, и неудовлетворенная ненависть, и оскорбленное бессилие того, кто когда-то привык к победам...

Очарованная этой дикой, нечеловеческой музыкой, «проезжающая», казалось, оцепенела навеки. Но вот скрипнула дверь, и в комнату вошел трактирный мальчик в новой коленкоровой рубашке. Прихрамывая на одну ногу и моргая сонными глазами, он снял пальцами со свечи, подложил в печку поленьев и вышел. Тотчас же в церкви, которая в Рогачах находится в трехстах шагах от трактира, стали бить полночь. Ветер играл со звоном, как со снеговыми хлопьями; гоняясь за колокольными звуками, он кружил их на громадном пространстве, так что одни удары прерывались или растягивались в длинный, волнистый звук, другие вовсе исчезали в общем гуле. Один удар так явственно прогудел в комнате, как будто звонили под самыми окнами. Девочка, спавшая на лисьем меху, вздрогнула и приподняла голову. Минуту она глядела бессмысленно на темное окно, на Наср-Эддина, по которому в это время

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
скользил багряный свет от печки, потом перевела взгляд на спавшего мужчину.

– Папа! – сказала она.

Но мужчина не двигался. Девочка сердито сдвинула брови, легла и поджала ноги. За дверью в трактире кто-то громко и протяжно зевнул. Вскоре вслед за этим послышался визг дверного блока и неясные голоса. Кто-то вошел и, стряхивая с себя снег, глухо затопал валяными сапогами.

– Чиво? – лениво спросил женский голос.

– Барышня Иловайская приехала.. – отвечал бас. Опять завизжал дверной блок. Послышался шум ворвавшегося ветра. Кто-то, вероятно, хромым мальчик, подбежал к двери, которая вела в «проезжающую», почтительно кашлянул и тронул щеколду.

– Сюда, матушка-барышня, пожалуйста, – сказал певучий женский голос, – тут у нас чисто, красавица...

Дверь распахнулась, и на пороге показался бородатый мужик, в кучерском кафтане и с большим чемоданом на плече, весь, с головы до ног, облепленный снегом. Вслед за ним вошла невысокая, почти вдвое ниже кучера, женская фигура без лица и без рук, окутанная, обмотанная, похожая на узел и тоже покрытая снегом. От кучера и узла на девочку пахло сыростью, как из погреба, и огонь свечи заколебался.

– Какие глупости! – сказал сердито узел. – Отлично можно ехать! Осталось ехать только двенадцать верст, все больше лесом, и не заблудились бы...

– Заблудиться-то не заблудились бы, да кони не идут, барышня! – отвечал кучер. – И Господи Твоя воля, словно я нарочно!

– Бог знает куда привез.. Но тише.. Тут, кажется, спят. Ступай отсюда...

Кучер поставил на пол чемодан, причем с его плеч посыпались пласты снега, издал носом всхлипывающий звук и вышел. Затем девочка видела, как из середины узла вылезли две маленьких ручки, потянулись вверх и стали сердито распутывать путаницу из шалей, платков и шарфов. Сначала на пол упала большая шаль, потом башлык, за ним белый вязаный платок. Освободив голову, приезжая сняла салоп и сразу сузилась наполовину. Теперь уж она была в длинном сером пальто с большими пуговицами и с оттопыренными карманами. Из одного кармана вытащила она бумажный сверток с чем-то, из другого вязку больших, тяжелых ключей, которую положила так неосторожно, что спавший мужчина вздрогнул и открыл глаза. Некоторое время он тупо глядел по сторонам, как бы не понимая, где он, потом встряхнул головой, пошел в угол и сел... Приезжая сняла пальто, отчего опять сузилась наполовину, стащила с себя плисовые сапоги и тоже села.

Теперь уж она не походила на узел. Это была маленькая, худенькая брюнетка, лет двадцати, тонкая, как змейка, с продолговатым белым лицом и с вьющимися волосами. Нос у нее был длинный, острый, подбородок тоже длинный и острый, ресницы длинные, углы рта острые, и, благодаря этой всеобщей остроте, выражение лица казалось колючим. Затянутая в черное платье, с массой кружев на шее и рукавах, с острыми локтями и длинными розовыми пальчиками, она напоминала портреты средневековых английских дам. Серьезное, сосредоточенное выражение лица еще более увеличивало это сходство...

Брюнетка оглядела комнату, покосилась на мужчину и девочку и, пожав плечами, пересела к окну. Темные окна дрожали от сырого западного ветра. Крупные хлопья снега, сверкая белизной, ложились на стекла, но тотчас же исчезали, уносимые ветром. Дикая музыка становилась все сильнее...

После долгого молчания девочка вдруг заворочалась и сказала, сердито отчеканивая каждое слово:

– Господи! Господи! Какая я несчастная! Несчастней всех!

Мужчина поднялся и виноватой походкой, которая совсем не шла к его громадному росту и большой бороде, засеменил к девочке.

– Ты не спишь, дружок? – спросил он извиняющимся голосом. – Чего ты хочешь?

– Ничего не хочу! У меня плечо болит! Ты, папа, нехороший человек, и Бог тебя накажет! Вот увидишь, что накажет!

– Голубчик мой, я знаю, что у тебя болит плечо, но что же я могу сделать, дружок? – сказал мужчина тоном, каким подвыпившие мужья извиняются перед своими строгими супругами. – Это, Саша, у тебя от дороги болит плечо. Завтра мы приедем к месту, отдохнем, оно и пройдет...

– Завтра, завтра... Ты каждый день говоришь мне завтра. Мы еще двадцать дней будем ехать!

– Но, дружок, честное слово отца, мы приедем завтра. Я никогда не лгу, а если нас задержала вьюга, то я не виноват.

– Я не могу больше терпеть! Не могу, не могу! Саша резко дрыгнула ногой и огласила комнату неприятным визгливым плачем. Отец ее махнул рукой и растерянно поглядел на брюнетку. Та пожала плечами и нерешительно подошла к Саше.

– Послушай, милая, – сказала она, – зачем же плакать? Правда, нехорошо, если болит плечо, но что же делать?

– Видите ли, сударыня, – быстро заговорил мужчина, как бы оправдываясь, – мы не спали две ночи и ехали в отвратительном экипаже. Ну, конечно, естественно, что она больна и тоскует... А тут еще, знаете ли, нам пьяный извозчик попался, чемодан у нас украли... метель все время, но к чему, сударыня, плакать? Впрочем, этот сон в сидячем положении утомил меня, и я точно пьяный. Ей-богу, Саша, тут и без тебя тошно, а ты еще плачешь!

Мужчина покрутил головой, махнул рукой и сел.

– Конечно, не следует плакать, – сказала брюнетка. – Это только грудные дети плачут. Если ты больна, милая, то надо раздеться и спать... Давай-ка разденемся!

Когда девочка была раздета и успокоена, опять наступило молчание. Брюнетка сидела у окна и с недоумением оглядывала трактирную комнату, образ, печку... По-видимому, ей казались странными и комната, и девочка с ее толстым носом, в короткой мальчишеской сорочке, и девочкин отец. Этот странный человек сидел в углу, растерянно, как пьяный, поглядывал по сторонам и мял ладонью свое лицо. Он молчал, моргал глазами, и, глядя на его виноватую фигуру, трудно было предположить, чтоб он скоро начал говорить. Но первый начал говорить он. Погладив себе колени, кашлянув, он усмехнулся и сказал:

– Комедия, ей-богу... Смотрю и глазам своим не верю: ну, за каким лешим судьба загнала нас в этот поганый трактир? Что она хотела этим выразить? Жизнь выделяет иногда такие salto mortale[4], что только гляди и в недоумении глазами хлопай. Вы, сударыня, далеко изволите ехать?

– Нет, недалеко, – ответила брюнетка. – Я еду из нашего имения, отсюда верст двадцать, в наш же хутор, к отцу и брату. Я сама Иловайская, ну и хутор также называется Иловайским, двенадцать верст отсюда. Какая неприятная погода!

– Чего хуже!

Вошел хромой мальчик и вставил в помадную банку новый огарок.

– Ты бы, хлопче, самоварчик нам поставил! – обратился к нему мужчина.

– Кто ж теперь чай пьет? – усмехнулся хромой. – Грех до обедни пить.

– Ничего, хлопче, не ты будешь гореть в аду, а мы...

За чаем новые знакомые разговорились. Иловайская узнала, что ее собеседника зовут Григорием Петровичем Лихаревым, что он родной брат тому самому Лихареву, который в одном из соседних уездов служит предводителем, и сам был когда-то помещиком, но «своевременно прогорел». Лихарев же узнал, что Иловайскую зовут Марьей Михайловной, что именье у ее отца громадное, но что хозяйничать приходится только ей одной, так как отец и брат смотрят на жизнь сквозь пальцы,

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
беспечны и слишком любят борзых.

– Отец и брат на хуторе одни-одинешеньки, – говорила Иловайская, шевеля пальцами (в разговоре у нее была манера шевелить перед своим колючим лицом пальцами и, после каждой фразы, облизывать острым язычком губы), – они, мужчины, народ беспечный, и сами для себя пальцем не пошевельнут. Воображаю, кто даст им разговеться! Матери у нас нет, а прислуга у нас такая, что без меня и скатерти путем не постеляют. Можете теперь представить их положение! Они останутся без разговенья, а я всю ночь должна здесь сидеть. Как все это странно!

Иловайская пожала плечами, отхлебнула из чашки и сказала:

– Есть праздники, которые имеют свой запах. На Пасху, Троицу и на Рождество в воздухе пахнет чем-то особенным. Даже неверующие любят эти праздники. Мой брат, например, толкует, что Бога нет, а на Пасху первый бежит к заутрене.

Лихарев поднял глаза на Иловайскую и засмеялся.

– Толкует, что Бога нет, – продолжала Иловайская, тоже засмеявшись, – но почему же, скажите мне, все знаменитые писатели, ученые, вообще умные люди, под конец жизни веруют?

– Кто, сударыня, в молодости не умел верить, тот не уверует и в старости, будь он хоть распереписатель.

Судя по кашлю, у Лихарева был бас, но, вероятно, из боязни говорить громко или из излишней застенчивости, он говорил тенором. Помолчав немного, он вздохнул и сказал:

– Я так понимаю, что вера есть способность духа. Она все равно что талант: с нею надо родиться. Насколько я могу судить по себе, по тем людям, которых видал на своем веку, по всему тому, что творилось вокруг, эта способность присуща русским людям в высочайшей степени. Русская жизнь представляет из себя непрерывный ряд верований и увлечений, а неверия или отрицания она еще, ежели желаете знать, и не нюхала. Если русский человек не верит в Бога, то это значит, что он верует во что-нибудь другое.

Лихарев принял от Иловайской чашку с чаем, отхлебнул сразу половину и продолжал:

– Я вам про себя скажу. В мою душу природа вложила необыкновенную способность верить. Полжизни я состоял, не к ночи будь сказано, в штате атеистов и нигилистов, но не было в моей жизни ни одного часа, когда бы я не веровал. Все таланты обнаруживаются обыкновенно в раннем детстве, так и моя способность давала уже себя знать, когда я еще под столом пешком ходил. Моя мать любила, чтобы дети много ели, и когда, бывало, кормила меня, то говорила: «Ешь! Главное в жизни – суп!» Я верил, ел этот суп по десяти раз в день, ел как акула, до отвращения и обморока. Рассказывала нянька сказки, и я верил в домовых, в леших, во всякую чертовщину. Бывало, краду у отца сулему, посыпаю ею пряники и ношу их на чердак, чтоб, видите ли, домовые поели и передохли. А когда научился читать и понимать читаное, то пошла писать губерния! Я и в Америку бегал, и в разбойники уходил, и в монастырь просился, и мальчишек нанимал, чтоб они меня мучили за Христа. И заметьте, вера у меня была всегда деятельная, не мертвая. Ежели я в Америку убежал, то не один, а совращал с собой еще кого-нибудь, такого же дурака, как я, и рад был, когда мерз за заставой и когда меня пороли; ежели в разбойники уходил, то возвращался непременно с разбитой рожей. Беспокойнейшее детство, я вам доложу! А когда меня отдали в гимназию и осыпали там всякими истинами вроде того, что Земля ходит вокруг Солнца, или что белый цвет не белый, а состоит из семи цветов, закружилась моя головушка! Все у меня полетело кувырком: и Навин, остановивший солнце, и мать, во имя пророка Илии отрицавшая громоотводы, и отец, равнодушный к истинам, которые я узнал. Мое прозрение вдохновило меня. Как шальной, ходил я по дому, по конюшням, проповедовал свои истины, приходил в ужас от невежества, пылал ненавистью ко всем, кто в белом цвете видел только белое... Впрочем, все это пустяки и мальчишество. Серьезные же, так сказать, мужественные увлечения начались у меня с университета. Вы, сударыня, изволили где-нибудь окончить курс?

– В Новочеркасске, в Донском институте.

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– А на курсах не были? Стало быть, вы не знаете, что такое науки. Все науки, сколько их есть на свете, имеют один и тот же паспорт, без которого они считают себя неммыслимыми: стремление к истине! Каждая из них, даже какая-нибудь фармакогнозия, имеет свою целью не пользу, не удобства в жизни, а истину. Замечательно! Когда вы принимаетесь изучать какую-нибудь науку, то вас прежде всего поражает ее начало. Я вам скажу, нет ничего увлекательнее и грандиознее, ничто так не ошеломляет и не захватывает человеческого духа, как начало какой-нибудь науки. С первых же пяти-шести лекций вас уже окрыляют самые яркие надежды, вы уже кажетесь себе хозяином истины. И я отдался наукам беззаветно, страстно, как любимой женщине. Я был их рабом и, кроме них, не хотел знать никакого другого солнца. День и ночь, не разгибая спины, я зубрил, разорялся на книги, плакал, когда на моих глазах люди эксплуатировали науку ради личных целей. Но я не долго увлекался. Штука в том, что у каждой науки есть начало, но вовсе нет конца, все равно как у периодической дробы. Зоология открыла тридцать пять тысяч видов насекомых, химия насчитывает шестьдесят простых тел. Если со временем к этим цифрам прибавится справа по десяти нолей, зоология и химия так же будут далеки от своего конца, как и теперь, а вся современная научная работа заключается именно в приращении цифр. Сей фокус я уразумел, когда открыл тридцать пять тысяч первый вид и не почувствовал удовлетворения. Ну-с, разочарования я не успел пережить, так как скоро мною овладела новая вера. Я ударился в нигилизм с его прокламациями, черными переделами и всякими штуками. Ходил я в народ, служил на фабриках, в смазчиках, бурлаках. Потом, когда, шатаюсь по Руси, я понюхал русскую жизнь, я обратился в горячего поклонника этой жизни. Я любил русский народ до страдания, любил и веровал в его Бога, в язык, творчество... И так далее и так далее... В свое время был я славянофилом, надоедал Аксакову письмами, и украинофилом, и археологом, и собирателем образцов народного творчества... увлекался я идеями, людьми, событиями, местами... увлекался без перерыва! Пять лет тому назад я служил отрицанию собственности; последней моей верой было непротивление злу.

Саша прерывисто вздохнула и задвигалась. Лихарев поднялся и подошел к ней.

– Дружочек мой, не хочешь ли чаю? – спросил он нежно.

– Пей сам! – грубо ответила девочка. Лихарев сконфузился и виноватой походкой вернулся к столу.

– Значит, вам весело жилось, – сказала Иловайская. – Есть о чем вспомнить.

– Ну да, все это весело, когда сидишь за чаем с доброй собеседницей и болтаешь, но вы спросите, во что мне обошлась эта веселость? Что стоило мне разнообразие моей жизни? Ведь я, сударыня, веровал не как немецкий доктор философии, не цирлих-манирлих, не в пустыне я жил, а каждая моя вера гнула меня в дугу, рвала на части мое тело. Судите вы сами. Был я богат, как братья, но теперь я нищий. В чаду увлечений я ухлопал и свое состояние, и женино – массу чужих денег. Мне теперь сорок два года, старость на носу, а я бесприютен, как собака, которая отстала ночью от обоза. Во всю жизнь мою я не знал, что такое покой. Душа моя непрерывно томилась, страдала даже надеждами... Я изнывал от тяжкого беспорядочного труда, терпел лишения, раз пять сидел в тюрьме, таскался по Архангельским и Тобольским губерниям... вспоминать больно! Я жил, но в чаду не чувствовал самого процесса жизни. Верите ли, я не помню ни одной весны, не замечал, как любила меня жена, как рождались мои дети. Что еще сказать вам? Для всех, кто любил меня, я был несчастьем... Моя мать вот уже пятнадцать лет носит по мне траур, а мои гордые братья, которым приходилось из-за меня болеть душой, краснеть, гнуть свои спины, сорить деньгами, под конец возненавидели меня, как отраву.

Лихарев поднялся и опять сел.

– Если б я был только несчастлив, то я возблагодарил бы Бога, – продолжал он, не глядя на Иловайскую. – Мое личное несчастье уходит на задний план, когда я вспоминаю, как часто в своих увлечениях я был нелеп, далек от правды, несправедлив, жесток, опасен! Как часто я всей душой ненавидел и презирал тех, кого следовало бы любить, и – наоборот. Изменял я тысячу раз. Сегодня я верую, падаю ниц, а завтра уж я трусом бегу от сегодняшних моих богов и друзей и молча глотаю подлеца, которого пускают мне вслед. Бог один видел, как часто от стыда за свои увлечения я плакал и грыз подушку. Ни разу в жизни я умышленно не солгал и не сделал зла, но нечиста моя совесть! Сударыня, я не могу даже похвастать,

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

что на моей совести нет ничьей жизни, так как на моих же глазах умерла моя жена, которую я изнурил своею бесшабашностью. Да, моя жена! Послушайте, у нас в общежитии преобладают теперь два отношения к женщинам. Одни измеряют женские черепа, чтоб доказать, что женщина ниже мужчины, ищут ее недостатков, чтоб глумиться над ней, оригинальничать в ее же глазах и оправдать свою животность. Другие же из всех сил стараются поднять женщину до себя, т. е. заставить ее зазубрить тридцать пять тысяч видов, говорить и писать те же глупости, какие они сами говорят и пишут... Лицо Лихарева потемнело.

– А я вам скажу, что женщина всегда была и будет рабой мужчины, – заговорил он басом, стукнув кулаком по столу. – Она нежный, мягкий воск, из которого мужчина всегда лепил все, что ему угодно. Господи Боже мой, из-за грошоваго мужского увлечения она стригла себе волосы, бросала семью, умирала на чужбине... Между идеями, для которых она жертвовала собой, нет ни одной женской... Беззаветная, преданная раба! Черепов я не измерял, а говорю это по тяжкому, горькому опыту. Самые гордые самостоятельные женщины, если мне удавалось сообщать им свое вдохновение, шли за мной, не рассуждая, не спрашивая и делая все, что я хотел; из монашенки я сделал нигилистку, которая, как потом я слышал, стреляла в жандарма; жена моя не оставляла меня в моих скитаниях ни на минуту и, как флюгер, меняла свою веру параллельно тому, как я менял свои увлечения.

Лихарев вскочил и заходил по комнате.

– Благородное, возвышенное рабство! – сказал он, всплескивая руками. – В нем-то именно и заключается высокий смысл женской жизни! Из страшного сумбура, накопившегося в моей голове за все время моего общения с женщинами, в моей памяти, как в фильтре, уцелели не идеи, не умные слова, не философия, а эта необыкновенная покорность судьбе, это необычайное милосердие, всепрощение...

Лихарев сжал кулаки, уставился в одну точку и с каким-то страстным напряжением, точно обсасывая каждое слово, процедил сквозь сжатые зубы:

– Эта... эта великодушная выносливость, верность до могилы, поэзия сердца... Смысл жизни именно в этом безропотном мученичестве, в слезах, которые размягчают камень, в безграничной, всепрощающей любви, которая вносит в хаос жизни свет и теплоту...

Иловайская медленно поднялась, сделала шаг к Лихареву и впилась глазами в его лицо. По слезам, которые блестели на его ресницах, по дрожавшему, страстному голосу, по румянцу щек для нее ясно было, что женщины были не случайною и не простою темою разговора. Они были предметом его нового увлечения или, как сам он говорил, новой веры! Первый раз в жизни Иловайская видела перед собой человека увлеченного, горячо верующего. Жестиколируя, сверкая глазами, он казался ей безумным, исступленным, но в огне его глаз, в речи, в движениях всего большого тела чувствовалось столько красоты, что она, сама того не замечая, стояла перед ним как вкопанная и восторженно глядела ему в лицо.

– А возьмите вы мою мать! – говорил он, протягивая к ней руки и делая умоляющее лицо. – Я отравил ее существование, обесславил, по ее понятиям, род Лихаревых, причинил ей столько зла, сколько может причинить злейший враг, и – что же? Братья выдают ей гроши на просфоры и молебны, а она, насилуя свое религиозное чувство, копит эти деньги и тайком шлет их своему беспутному Григорию! Одна эта мелочь воспитает и облагородит душу гораздо сильнее, чем все теории, умные слова, тридцать пять тысяч видов! Я вам могу тысячу примеров привести. Да вот хоть бы вас взять! На дворе вьюга, ночь, а вы едете к брату и отцу, чтобы в праздник согреть их лаской, хотя они, быть может, не думают, забыли о вас. А погодите, полюбите человека, так вы за ним на Северный полюс пойдете. Ведь пойдете?

– Да, если... полюблю.

– Вот видите! – обрадовался Лихарев и даже ногою притопнул. – Ей-богу, так я рад, что с вами познакомился! Такая добрая моя судьба, все я с великолепными людьми встречаюсь. Что ни день, то такое знакомство, что за человека просто бы душу отдал. На этом свете хороших людей гораздо больше, чем злых. Вот подите же, так мы с вами откровенно и по душам поговорили, как будто сто лет знакомы. Иной раз, доложу я вам, лет десять крепишься, молчишь, от друзей и жены скрывается, а встретишь в вагоне кадета и всю ему душу выболтаешь. Вас я имею честь видеть

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
только первый раз, а покаяться вам, как никогда не каялся. Отчего это?

Потирая руки и весело улыбаясь, Лихарев прошелся по комнате и опять заговорил о женщинах. Между тем зазвонили к заутрене.

– Господи! – заплакала Саша. – Он своими разговорами не дает мне спать!

– Ах, да! – спохватился Лихарев. – Виноват, дружочек. Спи, спи... Кроме нее, у меня еще двое мальчиков есть, – зашептал он. – Те, сударыня, у дяди живут, а эта не может и дня продышать без отца. Страдает, ропщет, а липнет ко мне, как муха к меду. Я, сударыня, заболтался, а оно бы и вам не мешало отдохнуть. Не угодно ли, я сделаю вам постель?

Не дожидаясь позволения, он встряхнул мокрый салоп и растянул его по скамье, мехом вверх, подобрал разбросанные платки и шали, положил у изголовья свернутое в трубку пальто, и все это молча, с выражением подобострастного благоговения на лице, как будто возился не с женскими тряпками, а с осколками освященных сосудов. Во всей его фигуре было что-то виноватое, конфузливое, точно в присутствии слабого существа он стыдился своего роста и силы...

Когда Иловайская легла, он потушил свечку и сел на табурет около печки.

– Так-то, сударыня, – шептал он, закуривая толстую папиросу и пуская дым в печку. – Природа вложила в русского человека необыкновенную способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства, но все это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие... Да-с...

Иловайская удивленно вглядывалась в потемки и видела только красное пятно на образе и мелькание печного света на лице Лихарева. Потемки, колокольный звон, рев метели, хромой мальчик, ропущая Саша, несчастный Лихарев и его речи – все это мешалось, выросло в одно громадное впечатление, и мир Божий казался ей фантастичным, полным чудес и чарующих сил. Все только что слышанное звучало в ее ушах, и жизнь человеческая представлялась ей прекрасной, поэтической сказкой, в которой нет конца.

Громадное впечатление росло и росло, заволокло собой сознание и обратилось в сладкий сон. Иловайская спала, но видела лампадку и толстый нос, по которому прыгал красный свет.

Слышала она плач.

– Дорогой папа, – нежно умолял детский голос, – вернемся к дяде! Там елка! Там Степа и Коля!

– Дружочек мой, что же я могу сделать? – убеждал тихий мужской бас. – Пойми меня! Ну, пойми!

И к детскому плачу присоединился мужской. Этот голос человеческого горя среди воя непогоды коснулся слуха девушки такой сладкой, человеческой музыкой, что она не вынесла наслаждения и тоже заплакала. Слышала она потом, как большая черная тень тихо подходила к ней, поднимала с полу упавшую шаль и кутала ее ноги.

Разбудил Иловайскую странный рев. Она вскочила и удивленно поглядела вокруг себя. В окна, наполовину занесенные снегом, глядела синева рассвета. В комнате стояли серые сумерки, сквозь которые ясно вырисовывались и печка, и спавшая девочка, и Наср-Эддин. Печь и лампадка уже потухли. В раскрытую настежь дверь видна была большая трактирная комната с прилавком и столами. Какой-то человек, с тупым, цыганским лицом, с удивленными глазами, стоял посреди комнаты на луже растаявшего снега и держал на палке большую красную звезду. Его окружала толпа мальчишек, неподвижных, как статуи, и облепленных снегом. Свет звезды, проходя сквозь красную бумагу, румянил их мокрые лица. Толпа беспорядочно редела, и из ее рева Иловайская поняла только один куплет:

Гей, ты, хлопчик маненький,  
Бери ножик тоненький,  
Уьем, уьем жида,  
Прискорбного сына...

Около прилавка стоял Лихарев, глядел с умилением на певцов и притопывал в такт

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
ногой. Увидев Иловайскую, он улыбнулся во все лицо и подошел к ней. Она тоже улыбнулась.

– С праздником! – сказал он. – Я видел, вы хорошо спали.

Иловайская глядела на него, молчала и продолжала улыбаться.

После ночных разговоров он уж казался ей не высоким, не широкоплечим, а маленьким, подобно тому, как нам кажется маленьким самый большой пароход, про который говорят, что он проплыл океан.

– Ну, мне пора ехать, – сказала она. – Надо одеваться. Скажите, куда же вы теперь направляетесь?

– Я-с? На станцию Клинушки, оттуда в Сергиево, а из Сергиева сорок верст на лошадях в угольные шахты одного дурня, некоего генерала Шашковского. Там мне братья место управляющего нашли... Буду уголь копать.

– Позвольте, я эти шахты знаю. Ведь Шашковский мой дядя. Но... зачем вы туда едете? – спросила Иловайская, удивленно оглядывая Лихарева.

– В управляющие. Шахтами управлять.

– Не понимаю! – пожала плечами Иловайская. – Вы едете в шахты. Но ведь там голая степь, безлюдье, скука такая, что вы дня не проживете! Уголь отвратительный, никто его не покупает, а мой дядя маньяк, деспот, банкрот... Вы и жалованья не будете получать!

– Все равно, – сказал равнодушно Лихарев. – И за шахты спасибо.

Иловайская пожала плечами и в волнении заходила по комнате.

– Не понимаю, не понимаю! – говорила она, шевеля перед своим лицом пальцами. – Это невозможно и... и неразумно! Вы поймите, что это... это хуже ссылки, это могила для живого человека! Ах, Господи, – горячо сказала она, подходя к Лихареву и шевеля пальцами перед его улыбающимся лицом; верхняя губа ее дрожала и колючее лицо побледнело. – Ну, представьте вы голую степь, одиночество. Там не с кем слова сказать, а вы... увлечены женщинами! Шахты и женщины!

Иловайская вдруг устыдилась своей горячности и, отвернувшись от Лихарева, отошла к окну.

– Нет, нет, вам туда нельзя ехать! – сказала она, быстро водя пальцем по стеклу.

Не только душой, но даже спиной ощущала она, что позади нее стоит бесконечно несчастный, пропавший, брошенный человек, а он, точно не сознавая своего несчастья, точно не он плакал ночью, глядел на нее и добродушно улыбался. Уж лучше бы он продолжал плакать! Несколько раз в волнении прошла она по комнате, потом остановилась в углу и задумалась. Лихарев что-то говорил, но она его не слышала. Повернувшись к нему спиной, она вытащила из портмоне четвертную бумажку, долго мяла ее в руках и, оглянувшись на Лихарева, покраснела и сунула бумажку к себе в карман.

За дверью послышался голос кучера. Иловайская молча, со строгим, сосредоточенным лицом, стала одеваться. Лихарев кутал ее и весело болтал, но каждое его слово ложилось на ее душу тяжестью. Невесело слушать, когда балагурят несчастные или умирающие.

Когда было кончено превращение живого человека в бесформенный узел, Иловайская оглядела в последний раз «проезжающую», постояла молча и медленно вышла. Лихарев пошел проводить ее...

А на дворе все еще, Бог знает чего ради, злилась зима. Целые облака мягкого крупного снега беспокойно кружились над землей и не находили себе места. Лошади, сани, деревья, бык, привязанный к столбу, – все было бело и казалось мягким, пушистым.

– Ну, дай Бог вам, – бормотал Лихарев, усаживая Иловайскую в сани. – Не

Иловайская молчала. Когда сани тронулись и стали объезжать большой сугроб, она оглянулась на Лихарева с таким выражением, как будто что-то хотела сказать ему. Тот подбежал к ней, но она не сказала ему ни слова, а только взглянула на него сквозь длинные ресницы, на которых висли снежинки...

Сумела ли в самом деле его чуткая душа прочитывать этот взгляд или, быть может, его обмануло воображение, но ему вдруг стало казаться, что еще бы два-три хороших, сильных штриха, и эта девушка простила бы ему его неудачи, старость, бездолие и пошла бы за ним, не спрашивая, не рассуждая. Долго стоял он как вкопанный и глядел на след, оставленный полозьями. Снежинки жадно садились на его волосы, бороду, плечи... Скоро след от полозьев исчез, и сам он, покрытый снегом, стал походить на белый утес, но глаза его все еще искали чего-то в облаках снега.

1886

Святою ночью

Я стоял на берегу Голтвы и ждал с того берега парома. В обыкновенное время Голтва представляет из себя речонку средней руки, молчаливую и задумчивую, кротко блистающую из-за густых камышей, теперь же предо мной расстилалось целое озеро. Разгулявшаяся вешняя вода перешагнула оба берега и далеко затопила оба побережья, захватив огороды, сенокосы и болота, так что на водной поверхности не редкость было встретить одиноко торчащие тополи и кусты, похожие в потемках на суровые утесы.

Погода казалась мне великолепной. Было темно, но я все-таки видел и деревья, и воду, и людей... Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали все небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно... Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика, умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде; звезды купались в темной глубине и дрожали вместе с легкой зыбью. В воздухе было тепло и тихо... Далеко, на том берегу, в непроглядной тьме, горело враспынную несколько ярко-красных огней...

В двух шагах от меня темнел силуэт мужика в высокой шляпе и с толстой, суковатой палкой.

– Как, однако, долго нет парома! – сказал я.

– А пора ему быть, – ответил мне силуэт.

– Ты тоже дожидаясь парома?

– Нет, я так... – зевнул мужик, – люминации дожидаясь. Поехал бы, да, признаться, пяточка на паром нет.

– Я тебе дам пяточок.

– Нет, благодарим покорно... Ужо на этот пяточок ты за меня там в монастыре свечку поставь... Этак любопытней будет, а я и тут постою. Скажи на милость, нет парома! Словно в воду канул!

Мужик подошел к самой воде, взялся рукой за канат и закричал:

– Иероним! Иерони-им!

Точно в ответ на его крик, с того берега донесся протяжный звон большого колокола. Звон был густой, низкий, как от самой толстой струны контрабаса: казалось, прохрипели сами потемки. Тотчас же послышался выстрел из пушки. Он прокатился в темноте и кончился где-то далеко за моей спиной. Мужик снял шляпу и перекрестился.

– Христос воскрес! – сказал он.

Не успели застыть в воздухе волны от первого удара колокола, как послышался другой, за ним тотчас же третий, и потемки наполнились непрерывным, дрожащим

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
гулом. Около красных огней загорелись новые огни, и все вместе задвигались, беспокойно замелькали.

– Иероним! – послышался глухой протяжный крик.

– С того берега кричат, – сказал мужик. – Значит, и там нет парома. Заснул наш Иероним.

Огни и бархатный звон колокола манили к себе... Я уж начал терять терпение и волноваться, но вот наконец, вглядываясь в темную даль, я увидел силуэт чего-то, очень похожего на виселицу. Это был давно жданный паром. Он подвигался с такою медленностью, что если б не постепенная обрисовка его контуров, то можно было бы подумать, что он стоит на одном месте или же идет к тому берегу.

– Скорей! Иероним! – крикнул мой мужик. – Барин дожидается!

Паром подполз к берегу, покачнулся и со скрипом остановился. На нем, держась за канат, стоял высокий человек в монашеской рясе и в конической шапочке.

– Отчего так долго? – спросил я, вскакивая на паром.

– Простите Христа ради, – ответил тихо Иероним. – Больше никого нет?

– Никого...

Иероним взялся обеими руками за канат, изогнулся в вопросительный знак и крикнул. Паром скрипнул и покачнулся. Силуэт мужика в высокой шляпе стал медленно удаляться от меня – значит, паром поплыл. Иероним скоро выпрямился и стал работать одной рукой. Мы молчали и глядели на берег, к которому плыли. Там уже началась «люминация», которой дожидался мужик. У самой воды громадными кострами пылали смоляные бочки. Отражения их, багровые, как восходящая луна, длинными, широкими полосами ползли к нам навстречу. Горящие бочки освещали свой собственный дым и длинные человеческие тени, мелькавшие около огня; но далее в стороны и позади них, откуда неслись бархатный звон, была все та же беспросветная, черная мгла. Вдруг, рассекая потемки, золотой лентой взвилась к небу ракета; она описала дугу и, точно разбившись о небо, с треском рассыпалась в искры. С берега послышался гул, похожий на отдаленное ура.

– Как красиво! – сказал я.

– И сказать нельзя, как красиво! – вздохнул Иероним. – Ночь такая, господин! В другое время и внимания не обратишь на ракеты, а нынче всякой суете радуешься. Вы сами откуда будете? Я сказал, откуда я.

– Так-с... радостный день нынче... – продолжал Иероним слабым, вздыхающим тенорком, каким говорят выздоравливающие больные. – Радуетесь и небо, и земля, и преисподняя. Празднует вся тварь. Только скажите мне, господин хороший, отчего это даже и при великой радости человек не может скорбей своих забыть?

Мне показалось, что этот неожиданный вопрос вызывал меня на один из тех «продлинновенных», душеспасительных разговоров, которые так любят праздные и скучающие монахи. Я не был расположен много говорить, а потому только спросил:

– А какие, батюшка, у вас скорби?

– Обыкновенно, как и у всех людей, ваше благородие, господин хороший, но в нынешний день случилась в монастыре особая скорбь: в самую обедню, во время паремий, умер иеродьякон Николай...

– Что ж, это Божья воля! – сказал я, поддельваясь под монашеский тон. – Всем умирать нужно. По-моему, вы должны еще радоваться... Говорят, что кто умрет под Пасху или на Пасху, тот непременно попадет в Царство Небесное.

– Это верно.

Мы замолчали. Силуэт мужика в высокой шляпе слился с очертаниями берега. Смоляные бочки разгорались все более и более.

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– И Писание ясно указывает на суету скорби, и размышление, – прервал молчание Иероним, – но отчего же душа скорбит и не хочет слушать разума? Отчего горько плакать хочется?

Иероним пожал плечами, повернулся ко мне и заговорил быстро:

– Уми я или кто другой, оно бы, может, и незаметно было, но ведь Николай умер! Никто другой, а Николай! Даже поверить трудно, что его уж нет на свете! Стою я тут на пароме, и все мне кажется, что сейчас он с берега голос свой подаст. Чтобы мне на пароме страшно не казалось, он всегда приходил на берег и окликал меня. Нарочито для этого ночью с постели вставал. Добрая душа! Боже, какая добрая и милостивая! У иного человека и матери такой нет, каким у меня был этот Николай! Спаси, Господи, его душу!

Иероним взялся за канат, но тотчас же опять повернулся ко мне.

– Ваше благородие, а ум какой светлый! – сказал он певучим голосом. – Какой язык благозвучный и сладкий! Именно, как вот сейчас будут петь в заутрени: «О, любезнаго! о, сладчайшаго Твоего гласа!» Кроме всех прочих человеческих качеств, в нем был еще и дар необычайный!

– Какой дар? – спросил я.

Монах оглядел меня и, точно убедившись, что мне можно верить тайны, весело засмеялся.

– У него был дар акафисты писать... – сказал он. – Чудо, господин, да и только! Вы изумитесь, ежели я вам объясню! Отец архимандрит у нас из московских, отец наместник в Казанской академии кончил, есть у нас и иеромонахи разумные, и старцы, но ведь, скажи пожалуйста, ни одного такого нет, чтобы писать умел, а Николай, простой монах, иеродьякон, нигде не обучался и даже видимости наружной не имел, а писал! Чудо! Истинно чудо!

Иероним всплеснул руками и, совсем забыв про канат, продолжал с увлечением:

– Отец наместник затрудняется проповеди составлять; когда историю монастыря писал, то всю братию загонял и раз десять в город ездил, а Николай акафисты писал! Акафисты! Это не то что проповедь или история!

– А разве акафисты трудно писать? – спросил я.

– Большая трудность... – покрутил головой Иероним. – Тут и мудростью и святостью ничего не поделаешь, ежели Бог дара не дал. Монахи, которые не понимающие, рассуждают, что для этого нужно только знать житие святого, которому пишешь, да с прочими акафистами соображаться. Но это, господин, неправильно. Оно, конечно, кто пишет акафист, тот должен знать житие до чрезвычайности, до последней самонаименованной точки. Ну и соображаться с прочими акафистами нужно, как где начать и о чем писать. К примеру, сказать вам, первый кондак везде начинается с «возбранный» или «избранный»... Первый икос всегда надо начинать с ангела. В акафисте к Иисусу Сладчайшему, ежели интересуетесь, он начинается так: «Ангелов Творче и Господи Сил», в акафисте к Пресвятой Богородице: «Ангел предстатель с Небесе послан бысть», к Николаю Чудотворцу: «Ангела образом, земнаго суца естеством» и прочее. Везде с ангела начинается. Конечно, без того нельзя, чтобы не соображаться, но главное ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости. Нужно, чтоб все было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего. Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил. В Богородичном акафисте есть слова: «Радуйся, высоту, неудобовосходимая человеческими помысли; радуйся, глубину, неудобозримая и ангельским очима!»[5] В другом месте того же акафиста сказано: «Радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются вернии; радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози!»[6]

Иероним, словно испугавшись чего-то или застыдившись, закрыл ладонями лицо и покачал головой.

– Древо светлоплодовитое... древо благосеннолиственное... – пробормотал он. – Найдет

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
же такие слова! Даст же Господь такую способность! Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово, и как это у него все выходит плавно и обстоятельно!

«Светоподательна светильника сущим...»[7] – сказано в акафисте к Иисусу Сладчайшему. Светоподательна! Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем! Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтоб оно было гладенько и для уха вольготней. «Радуйся, крине райскаго прозябения!»[8] – сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто «крине райский», а «крине райскаго прозябения»! Так глаже и для уха сладко. Так именно и Николай писал! Точь-в-точь так! И выразить вам не могу, как он писал!

– Да, в таком случае жаль, что он умер, – сказал я. – Однако, батюшка, давайте плыть, а то опоздаем...

Иероним спохватился и побежал к канату. На берегу начали перезванивать во все колокола. Вероятно, около монастыря происходил уже крестный ход, потому что все темное пространство за смоляными бочками было теперь усыпано двигающимися огнями.

– Николай печатал свои акафисты? – спросил я Иеронима.

– Где ж печатать? – вздохнул он. – Да и странно было бы печатать. К чему? В монастыре у нас этим никто не интересуется. Не любят. Знали, что Николай пишет, но оставляли без внимания. Нынче, сударь, новые писания никто не уважает!

– С предубеждением к ним относятся?

– Точно так. Будь Николай старцем, то, пожалуй, может, братия и полюбопытствовала бы, а то ведь ему еще и сорока лет не было. Были которые смеялись и даже за грех почитали его писание.

– Для чего же он писал?

– Так, больше для своего утешения. Из всей братии только я один и читал его акафисты. Приду к нему потихоньку, чтоб прочие не видели, а он и рад, что я интересуюсь. Обнимет меня, по голове гладит, ласковыми словами обзывает, как дитя маленького. Затворит келию, посадит меня рядом с собой и давай читать...

Иероним оставил канат и подошел ко мне.

– Мы вроде как бы друзья с ним были, – зашептал он, глядя на меня блестящими глазами. – Куда он, туда и я. Меня нет, он тоскует. И любил он меня больше всех, а все за то, что я от его акафистов плакал. Вспоминать трогательно! Теперь я все равно как сирота или вдовица. Знаете, у нас в монастыре народ все хороший, добрый, благочестивый, но... ни в ком нет мягкости и деликатности, все равно как люди простого звания. Говорят все громко, когда ходят, ногами стучат, шумят, кашляют, а Николай говорил завсегда тихо, ласково, а ежели заметит, что кто спит или молится, то пройдет мимо, как мушка или комарик. Лицо у него было нежное, жалостное...

Иероним глубоко вздохнул и взялся за канат. Мы уже приближались к берегу. Прямо из потемок и речной тишины мы постепенно вплывали в заколдованное царство, полное удушливого дыма, трещащего света и гама. Около смоляных бочек, уж ясно было видно, двигались люди. Мельканье огня придавало их красным лицам и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка среди голов и лиц мелькали лошадиные морды, неподвижные, точно вылитые из красной меди.

– Сейчас запоят Пасхальный канон... – сказал Иероним, – а Николая нет, некому вникать... Для него слаже и писания не было, как этот канон. В каждое слово, бывало, вникал! Вы вот будете там, господин, и вникните, что поется: дух захватывает!

– А вы разве не будете в церкви?

– Мне нельзя–с... Перевозить нужно...

– Но разве вас не сменяют?

– Не знаю... Меня еще в девятом часу нужно было сменить, да вот, видите, не сменяют!.. А признаться, хотелось бы в церковь...

– Вы монах?

– Да–с... то есть я послушник.

Паром врезался в берег и остановился. Я сунул Иерониму пяточок за провоз и прыгнул на сушу. Тотчас же телега с мальчиком и со спящей бабой со скрипом въехала на паром. Иероним, слабо окрашиваемый огнями, налег на канат, изогнулся и сдвинул с места паром...

Несколько шагов я сделал по грязи, но далее пришлось идти по мягкой, свежепротопанной тропинке. Эта тропинка вела к темным, похожим на впадину монастырским воротам сквозь облака дыма, сквозь беспорядочную толпу людей, распряженных лошадей, телег, бричек. Все это скрипело, фыркало, смеялось, и по всему мелькали багровый свет и волнистые тени от дыма... Сущий хаос! И в этой толкотне находили еще место заряжать маленькую пушку и продавать пряники!

По ту сторону стены, в ограде, происходила не меньшая суетня, но благочиния и порядка наблюдалось больше. Тут пахло можжевельником и росным ладаном. Говорили громко, но смеха и фыркания не слышалось. Около могильных памятников и крестов жались друг к другу люди с куличами и узлами. По-видимому, многие из них приехали святить куличи издалека и были теперь утомлены. По чугунным плитам, которые лежали полосой от ворот до церковной двери, суетливо, звонко стуча сапогами, бегали молодые послушники. На колокольне тоже возились и кричали.

«Какая беспокойная ночь! – думал я. – Как хорошо!»

Беспокойство и бессонницу хотелось видеть во всей природе, начиная с ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, под которыми суетились люди. Но нигде возбуждение и беспокойство не сказывались так сильно, как в церкви. У входа происходила неугомонная борьба прилива с отливом. Одни входили, другие выходили и скоро опять возвращались, чтобы постоять немного и вновь задвигаться. Люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего-то ищут. Волна идет от входа и бежит по всей церкви, тревожа даже передние ряды, где стоят люди солидные и тяжелые. О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная, детски-безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне.

Та же необычайная подвижность бросается в глаза и в самом пасхальном служении. Царские врата во всех приделах открыты настежь, в воздухе около паникадила плавают густые облака ладанного дыма; куда ни взглянешь, всюду огни, блеск, треск свечей... Чтений не полагается никаких; пение, суетливое и веселое, не прерывается до самого конца; после каждой песни в каноне духовенство меняет ризы и выходит кадить, что повторяется почти каждые десять минут.

Не успел я занять места, как спереди хлынула волна и отбросила меня назад. Передо мной прошел высокий плотный дьякон с длинной красной свечой; за ним спешил с кадилом седой архимандрит в золотой митре. Когда они скрылись из виду, толпа оттиснула меня опять на прежнее место. Но не прошло и десяти минут, как хлынула новая волна и опять показался дьякон. На этот раз за ним шел отец наместник, тот самый, который, по словам Иеронима, писал историю монастыря.

Мне, слившемуся с толпой и заразившемуся всеобщим радостным возбуждением, было невыносимо больно за Иеронима. Отчего его не сменяют? Почему бы не пойти на паром кому-нибудь менее чувствующему и менее впечатлительному?

«Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь... – пели на клиросе, – се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя...»[9]

Я поглядел на лица. На всех было живое выражение торжества; но ни один человек

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
не вслушивался и не вникал в то, что пелось, и ни у кого не «захватывало духа». Отчего не сменят Иеронима? Я мог себе представить этого Иеронима, смиренно стоящего где-нибудь у стены, согнувшегося и жадно ловящего красоту святой фразы. Все, что теперь проскальзывало мимо слуха стоявших около меня людей, он жадно пил бы своей чуткой душой, упился бы до восторгов, до захватывания духа, и не было бы во всем храме человека счастливее его. Теперь же он плывал взад и вперед по темной реке и тосковал по своему умершем брате и друге.

Сзади хлынула волна. Полный, улыбающийся монах, играя четками и оглядываясь назад, боком протискался около меня, пролагая путь какой-то даме в шляпке и бархатной шубке. Вслед за дамой, неся над нашими головами стул, торопился монастырский служка.

Я вышел из церкви. Мне хотелось посмотреть мертвого Николая, безвестного сочинителя акафистов. Я прошелся около ограды, где вдоль стены тянулся ряд монашеских келий, заглянул в несколько окон и, ничего не увидев, вернулся назад. Теперь я не сожалею, что не видел Николая; Бог знает, быть может, увидев его, я утратил бы образ, который рисует теперь мне мое воображение. Этого симпатичного поэтического человека, выходявшего по ночам перекликаться с Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, не понятого и одинокого, я представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах, рядом с умом, должна светиться ласка и та едва сдерживаемая, детская восторженность, какая слышалась мне в голосе Иеронима, когда тот приводил мне цитаты из акафистов.

Когда после обедни мы вышли из церкви, то ночи уже не было. Начиналось утро. Звезды погасли, и небо представлялось серо-голубым, хмурым. Чугунные плиты, памятники и почки на деревьях были подернуты росой. В воздухе резко чувствовалась свежесть. За оградой уже не было того оживления, какое я видел ночью. Лошади и люди казались утомленными, сонными, едва двигались, а от смоляных бочек оставались одни только кучки черного пепла. Когда человек утомлен и хочет спать, то ему кажется, что то же самое состояние переживает и природа. Мне казалось, что деревья и молодая трава спали. Казалось, что даже колокола звонили не так громко и весело, как ночью. Беспокойство кончилось, и от возбуждения осталась одна только приятная истома, жажда сна и тепла.

Теперь я мог видеть реку с обоими берегами. Над ней холмами то там, то сям носился легкий туман. От воды веяло холодом и суровостью. Когда я прыгнул на паром, на нем уже стояла чья-то бричка и десятка два мужчин и женщин. Канат, влажный и, как казалось мне, сонный, далеко тянулся через широкую реку и местами исчезал в белом тумане.

– Христос воскрес! Больше никого нет? – спросил тихий голос.

Я узнал голос Иеронима. Теперь ночные потемки уж не мешали мне разглядеть монаха. Это был высокий узкоплечий человек, лет тридцати пяти, с крупными округлыми чертами лица, с полузакрытыми, лениво глядящими глазами и с нечесаной клиновидной бородкой. Вид у него был необыкновенно грустный и утомленный.

– Вас еще не сменили? – удивился я.

– Меня-с? – переспросил он, поворачивая ко мне свое озябшее, покрытое росой лицо и улыбаясь. – Теперь уж некому сменять до самого утра. Все к отцу архимандриту сейчас разговляться пойдут-с.

Он да еще какой-то мужичок в шапке из рыжего меха, похожей на липовки, в которых продают мед, поналегли на канат, дружно крякнули, и паром тронулся с места.

Мы поплыли, беспокоя на пути лениво подымавшийся туман. Все молчали. Иероним машинально работал одной рукой. Он долго водил по нас своими кроткими, тусклыми глазами, потом остановил свой взгляд на розовом черномровом лице молодой купчихи, которая стояла на пароме рядом со мной и молча пожималась от обнимавшего ее тумана. От ее лица не отрывал он глаз в продолжение всего пути.

В этом продолжительном взгляде было мало мужского. Мне кажется, что на лице женщины Иероним искал мягких и нежных черт своего усопшего друга.

Казак

Арендатор хутора Низы Максим Торчаков, бердянский мещанин, ехал со своей молодой женой из церкви и вез только что освященный кулич. Солнце еще не всходило, но восток уже румянился, золотился. Было тихо... Перепел кричал свои «пить пойдем! пить пойдем!», да далеко над курганчиком носился коршун, а больше во всей степи не было заметно ни одного живого существа.

Торчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, как Христово Воскресение. Женат он был недавно и теперь справлял с женой первую Пасху. На что бы он ни взглянул, о чем бы ни подумал, все представлялось ему светлым, радостным и счастливым. Думал он о своем хозяйстве и находил, что все у него исправно, домашнее убранство такое, что лучше и не надо, всего довольно и все хорошо; глядел он на жену – и она казалась ему красивой, доброй и кроткой. Радовала его и заря на востоке, и молодая травка, и его тряская визгливая бричка, нравился даже коршун, тяжело взмахивавший крыльями. А когда он по пути забежал в кабак закурить папиросу и выпил стаканчик, ему стало еще веселее...

– Сказано, Велик день! – говорил он. – Вот и велик! Погоди, лиза, сейчас солнце начнет играть. Оно каждую Пасху играет! И оно тоже радуется, как люди!

– Оно не живое, – заметила жена.

– Да на нем люди есть! – воскликнул Торчаков. – Ей-богу, есть! Мне Иван Степаныч рассказывал – на всех планетах есть люди, на солнце и на месяце!

Право... А может, ученые и брешут, нечистый их знает! Постой, никак лошадь стоит! Так и есть!

На полдороге к дому, у Кривой Балочки, Торчаков и его жена увидели оседланную лошадь, которая стояла неподвижно и нюхала землю. У самой дороги на кочке сидел рыжий казак и, согнувшись, глядел себе в ноги.

– Христос воскрес! – крикнул ему Максим.

– Воистину воскрес, – ответил казак, не поднимая головы.

– Куда едешь?

– Домой, на льготу.

– Зачем же тут сидишь?

– Да так... захворал... Нет мочи ехать.

– Что ж у тебя болит?

– Весь болю.

– Гм... вот напасть! У людей праздник, а ты хвораешь! Да ты бы в деревню или на постоялый ехал, а что так сидеть?

Казак поднял голову и обвел утомленными больными глазами Максима, его жену, лошадь.

– Вы это из церкви? – спросил он.

– Из церкви.

– А меня праздник в дороге застал. Не привел Бог доехать. Сейчас сесть бы да ехать, а мочи нет... Вы бы, православные, дали мне, проезжему, свяченой пасочки[10] разговеться!

– Пасочки? – спросил Торчаков. – Оно можно, ничего... Постой, сейчас...

Максим быстро пошарил у себя в карманах, взглянул на жену и сказал:

– Нету у меня ножика, отрезать нечем. А ломать-то – не рука, всю паску испортишь. Вот задача! Поищи-ка, нет ли у тебя ножика?

Казак через силу поднялся и пошел к своему седлу за ножом.

– Вот еще что выдумали! – сердито сказала жена Торчакова. – Не дам я тебе паску кромсать! С какими глазами я ее домой порезанную повезу? И видано ль дело – в степи разговляться! Поезжай на деревню к мужикам да там и разговляйся!

Жена взяла из рук мужа кулич, завернутый в белую салфетку, и сказала:

– Не дам! Надо порядок знать. Это не булка, а свяченая паска, и грех ее без толку кромсать.

– Ну, казак, не прогневайся! – сказал Торчаков и засмеялся. – Не велит жена! Прощай, путь-дорога!

Максим тронул вожжи, чмокнул, и бричка с шумом покатила дальше. А жена все еще говорила, что резать кулич, не доехав до дому, – грех и непорядок, что все должно иметь свое место и время. На востоке, крася пушистые облака в разные цвета, засияли первые лучи солнца; послышалась песня жаворонка. Уж не один, три коршуна, в отдалении друг от друга, носились над степью. Солнце пригрело чуть-чуть, и в молодой траве затрещали кузнечики.

Отъехав больше версты, Торчаков оглянулся и пристально поглядел вдаль.

– Не видать казака... – сказал он. – Экий сердяга, вздумал в дороге хворать! Нет хуже напасти: ехать надо, а мочи нет... Чего доброго, помрет в дороге... Не дали мы ему, Лизавета, паски, а небось и ему надо было дать. Небось и ему разговеться хочется.

Солнце взошло, но играло оно или нет, Торчаков не видел. Всю дорогу до самого дома он молчал, о чем-то думал и не спускал глаз с черного хвоста лошади. Неизвестно отчего, им овладела скука, и от праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто ее и не было.

Приехали домой, христосовались с работниками; Торчаков опять повеселел и стал разговаривать, но как сели разговляться и все взяли по куску свяченого кулича, он невесело поглядел на жену и сказал:

– А нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговеться.

– Чудной ты, ей-богу! – сказала Лизавета и с удивлением пожала плечами. – Где ты взял такую моду, чтобы свяченую паску раздавать по дороге? Нешто это булка? Теперь она порезана, на столе лежит, пушай ест кто хочет, хоть и казак твой! Разве мне жалко?

– Так-то оно так, а жалко мне казака. Ведь он хуже нищего и сироты. В дороге, далеко от дому, хворый...

Торчаков выпил полстакана чаю и уж больше ничего не пил и не ел. Есть ему не хотелось, чай казался невкусным, как трава, и опять стало скучно.

После разговенья легли спать. Когда часа через два Лизавета проснулась, он стоял у окна и глядел во двор.

– Ты уже встал? – спросила жена.

– Не спится что-то... Эх, Лизавета, – вздохнул он, – обидели мы с тобой казака!

– Ты опять с казаком! Дался тебе этот казак. Бог с ним.

– Он царю служил, может, кровь проливал, а мы с ним как с свиньей обошлись. Надо бы его, больного, домой привезть, покормить, а мы ему даже кусочка хлеба не дали.

– Да, так и дам я тебе паску портить. Да еще свяченую! Ты бы ее с казаком искромсал, а я бы потом дома глазами лупала? Ишь ты какой!

Максим потихоньку от жены пошел в кухню, завернул в салфетку кусок кулича и

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
пяток яиц и пошел в сарай к работникам.

– Кузьма, брось гармонию, – обратился он к одному из них. – Седлай гнедого или Иванчика и езжай поживее к Кривой Балочке. Там больной казак с лошастью, так вот отдай ему это. Может, он еще не уехал.

Максим опять повеселел, но, прождав несколько часов Кузьму, не вытерпел, оседлал лошадь и поскакал к нему навстречу. Встретил он его у самой Балочки.

– Ну что? Видал казака?

– Нигде нету. Должно, уехал.

– Гм... история!

Торчаков взял у Кузьмы узелок и поскакал дальше. Доехав до деревни, он спросил у мужиков:

– Братцы, не видали ли вы больного казака с лошастью? Не проезжал ли тут? Из себя рыжий, худой, на гнедом коне.

Мужики поглядели друг на друга и сказали, что казака они не видели.

– Обратный почтовый ехал, это точно, а чтоб казак или кто другой – такого не было.

Вернулся Максим домой к обеду.

– Сидит у меня этот казак в голове, и хоть ты что! – сказал он жене. – Не дает покою. Я все думаю: а что, ежели это Бог нас испытать хотел и ангела или святого какого в виде казака нам навстречу послал? Ведь бывает это. Нехорошо, Лизавета, обидели мы человека!

– Да что ты ко мне с казаком пристал? – крикнула Лизавета, выходя из терпения. – Пристал, как смола!

– А ты, знаешь, недобрая... – сказал Максим и пристально поглядел ей в лицо.

И он впервые после женитьбы заметил, что его жена недобрая.

– Пущай я недобрая, – крикнула она и сердито стукнула ложкой, – а только не стану я всяким пьяницам свяченую паску раздавать!

– А нешто казак пьяный?

– Пьяный!

– Почем ты знаешь?

– Пьяный!

– Ну и дура!

Максим, рассердившись, встал из-за стола и начал укорять свою молодую жену, говорил, что она немилосердная и глупая. А она, тоже рассердившись, заплакала и ушла в спальню и крикнула оттуда:

– Чтоб он околел, твой казак! Отстань ты от меня, холера, со своим казаком вонючим, а то я к отцу уеду!

За все время после свадьбы у Торчакова это была первая ссора с женой. До самой вечерни он ходил у себя по двору, все думал о жене, думал с досадой, и она казалась теперь злой, некрасивой. И как нарочно, казак все не выходил из головы и Максиму мерещились то его больные глаза, то голос, то походка...

– Эх, обидели мы человека! – бормотал он. – Обидели!

Вечером, когда стемнело, ему стало нестерпимо скучно, как никогда не было, –

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
хоть в петлю полезай! От скуки и с досады на жену он напился, как напивался в  
прежнее время, когда был неженатым. В хмелю он бранился скверными словами и  
кричал жене, что у нее злое, некрасивое лицо и завтра же он прогонит ее к отцу.

Утром на другой день праздника он захотел опохмелиться и опять напился.

С этого и началось расстройство.

Лошади, коровы, овцы и ульи мало-помалу, друг за дружкой стали исчезать со  
двора, долги росли, жена становилась постылой... Все эти напасти, как говорил  
Максим, произошли оттого, что у него злая, глупая жена, что Бог прогневался на  
него и на жену... за больного казака. Он все чаще и чаще напивался. Когда был  
пьян, то сидел дома и шумел, а трезвый ходил по степи и ждал, не встретится ли  
ему казак...

1887

На Страстной неделе

– Иди, уже звонят. Да смотри не шали в церкви, а то Бог накажет.

Мать сует мне на расходы несколько медных монет и тотчас же, забыв про меня,  
бежит с остывшим утюгом в кухню. Я отлично знаю, что после исповеди мне не дадут  
ни есть, ни пить, а потому, прежде чем выйти из дому, насильно съедаю краюху  
белого хлеба, выпиваю два стакана воды. На улице совсем весна. Мостовые покрыты  
бурым месивом, на котором уже начинают обозначаться будущие тропинки; крыши и  
тротуары сухи; под заборами сквозь гнилую прошлогоднюю траву пробивается нежная,  
молодая зелень. В канавах, весело журча и пенясь, бежит грязная вода, в которой  
не брезгают купаться солнечные лучи. Щепочки, соломинки, скорлупа подсолнухов  
быстро несутся по воде, кружатся и цепляются за грязную пену. Куда, куда плывут  
эти щепочки? Очень возможно, что из канавы попадут они в реку, из реки в море,  
из моря в океан... Я хочу вообразить себе этот длинный, страшный путь, но моя  
фантазия обрывается, не дойдя до моря.

Проезжает извозчик. Он чмокает, дергает вожжи и не видит, что на задке его  
пролетки повисли два уличных мальчика. Я хочу присоединиться к ним, но вспоминаю  
про исповедь, и мальчишки начинают казаться мне величайшими грешниками.

«На Страшном суде их спросят: зачем вы шалили и обманывали бедного извозчика? –  
думаю я. – Они начнут оправдываться, но нечистые духи схватят их и потащат в  
огонь вечный. Но если они будут слушаться родителей и подавать нищим по копейке  
или по бублику, то Бог сжалится над ними и пустит их в рай».

Церковная паперть суха и залита солнечным светом. На ней ни души. Нерешительно я  
открываю дверь и вхожу в церковь. Тут в сумерках, которые кажутся мне густыми и  
мрачными, как никогда, мною овладевает сознание греховности и ничтожества.  
Прежде всего бросаются в глаза большое распятие и по сторонам его Божия Матерь и  
Иоанн Богослов. Паникадила и ставники одеты в черные, траурные чехлы, лампадки  
мерцают тускло и робко, а солнце как будто умышленно минует церковные окна.  
Богородица и любимый ученик Иисуса Христа, изображенные в профиль, молча глядят  
на невыносимые страдания и не замечают моего присутствия; я чувствую, что для  
них я чужой, лишний, незаметный, что не могу помочь им ни словом, ни делом, что  
я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости и  
ябедничество. Я вспоминаю всех людей, каких только я знаю, и все они  
представляются мне мелкими, глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю  
уменьшить то страшное горе, которое я теперь вижу; церковные сумерки делаются  
гуще и мрачнее, и Божия Матерь с Иоанном Богословом кажутся мне одиночками.

За свечным шкапом стоит Прокофий Игнатьич, старый отставной солдат, помощник  
церковного старосты. Подняв брови и поглаживая бороду, он объясняет полупшепотом  
какой-то старухе:

– Утренняя будет сегодня с вечера, сейчас же после вечерни. А завтра к часам  
ударят в восьмом часу. Поняла? В восьмом.

А между двух широких колонн направо, там, где начинается придел Варвары  
Великомученицы, возле ширмы, ожидая очереди, стоят исповедники... Тут же и Митька,  
оборванный, некрасиво стриженный мальчик с оттопыренными ушами и маленькими,  
очень злыми глазами. Это сын вдовы-поденщицы Настасья, забияка, разбойник,  
хватаящий с лотков у торговки яблоки и не раз отнимавший у меня бабки. Он

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
сердито оглядывает меня и, мне кажется, злорадствует, что не я, а он первый пойдет за ширму. Во мне закипает злоба, я стараюсь не глядеть на него и в глубине души досаую на то, что этому мальчишке простятся сейчас грехи.

Впереди него стоит роскошно одетая, красивая дама в шляпке с белым пером. Она заметно волнуется, напряженно ждет, и одна щека у нее от волнения лихорадочно зарумянилась.

Жду я пять минут, десять... Из-за ширм выходит прилично одетый молодой человек с длинной, тощей шеей и в высоких резиновых калошах; начинаю мечтать о том, как я вырасту большой и как куплю себе такие же калоши, непременно куплю! Дама вздрагивает и идет за ширмы. Ее очередь.

В щелку между двумя половинками ширмы видно, как дама подходит к аналою и делает земной поклон, затем поднимается и, не глядя на священника, в ожидании поникает головой. Священник стоит спиной к ширмам, а потому я вижу только его седые кудрявые волосы, цепочку от наперсного креста и широкую спину. А лица не видно. Вздохнув и не глядя на даму, он начинает говорить быстро, покачивая головой, то возвышая, то понижая свой шепот. Дама слушает покорно, как виноватая, коротко отвечает и глядит в землю.

«Чем она грешна? – думаю я, благоговейно посматривая на ее кроткое, красивое лицо. – Боже, прости ей грехи! Пошли ей счастье!»

Но вот священник покрывает ее голову епитрахилью.

– И аз, недостойный иерей... – слышится его голос, – властью Его, мне данную, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих...

Дама делает земной поклон, целует крест и идет назад. Уже обе щеки ее румяны, но лицо спокойно, ясно, весело.

«Она теперь счастлива, – думаю я, глядя то на нее, то на священника, простившего ей грехи. – Но как должен быть счастлив человек, которому дано право прощать».

Теперь очередь Митьки, но во мне вдруг вскипает чувство ненависти к этому разбойнику, я хочу пройти за ширму раньше его, я хочу быть первым... Заметив мое движение, он бьет меня свечой по голове, я отвечаю ему тем же, и полминуты слышится пыхтенье и такие звуки, как будто кто-то ломает свечи... Нас разбирают. Мой враг робко подходит к аналою, не сгибая колен, кланяется в землю, но, что дальше, я не вижу; от мысли, что сейчас после Митьки будет моя очередь, в глазах у меня начинают мешаться и расплываться предметы; оттопыренные уши Митьки растут и сливаются с темным затылком, священник колеблется, пол кажется волнистым...

Раздается голос священника:

– И аз, недостойный иерей...

Теперь уж и я двигаюсь за ширмы. Под ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху... Подхожу к аналою, который выше меня. На мгновение у меня в глазах мелькает равнодушное, утомленное лицо священника, но дальше я вижу только его рукав с голубой подкладкой, крест и край аналоя. Я чувствую близкое соседство священника, запах его рясы, слышу строгий голос, и моя щека, обращенная к нему, начинает гореть... Многого от волнения я не слышу, но на вопросы отвечаю искренно, не своим, каким-то странным голосом, вспоминаю одиноких Богородицу и Иоанна Богослова, распятие, свою мать, и мне хочется плакать, просить прощения.

– Тебя как зовут? – спрашивает священник, покрывая мою голову мягкой епитрахилью.

Как теперь легко, как радостно на душе!

Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай! Мне кажется, что от меня уже пахнет так же, как от рясы, я иду из-за ширм к дьякону записываться и нюхаю свои рукава. Церковные сумерки уже не кажутся мне мрачными, и на Митьку я гляжу равнодушно, без злобы.

– Как тебя зовут? – спрашивает дьякон.

- Федя.
- А по отчеству?
- Не знаю.
- Как зовут твоего папашу?
- Иван Петрович.
- Фамилия? Я молчу.
- Сколько тебе лет?
- Девятый год.

Придя домой, я, чтобы не видеть, как ужинают, поскорее ложусь в постель и, закрывши глаза, мечтаю о том, как хорошо было бы претерпеть мучения от какого-нибудь Ирода или Диоскора[11], жить в пустыне и, подобно старцу Серафиму, кормить медведей, жить в келии и питаться одной просфорой, раздать имущество бедным, идти в Киев. Мне слышно, как в столовой накрывают на стол, – это собираются ужинать; будут есть винегрет, пирожки с капустой и жареного судака. Как мне хочется есть! Я согласен терпеть всякие мучения, жить в пустыне без матери, кормить медведей из собственных рук, но только сначала съесть бы хоть один пирожок с капустой!

– Боже, очисти меня, грешного, – молюсь я, укрываясь с головой. – Ангел Хранитель, защити меня от нечистого духа.

На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как хороший весенний день. В церковь я иду весело, смело, чувствуя, что я причастник, что на мне роскошная и дорогая рубаха, сшитая из шелкового платья, оставшегося после бабушки. В церкви все дышит радостью, счастьем и весной; лица Богородицы и Иоанна Богослова не так печальны, как вчера, лица причастников озарены надеждой, и, кажется, все прошлое предано забвению, все прощено. Митька тоже причесан и одет по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренные уши и, чтобы показать, что я против него ничего не имею, говорю ему:

– Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали так волосы и если бы ты не был так бедно одет, то все бы подумали, что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи ко мне на Пасху, будем в бабки играть.

Митька недоверчиво глядит на меня и грозит мне под полую кулаком.

А вчерашняя дама кажется мне прекрасной. На ней светло-голубое платье и большая сверкающая брошь в виде подковы. Я люблюсь ею и думаю, что когда я вырасту большой, то непременно женюсь на такой женщине, но, вспомнив, что жениться – стыдно, я перестаю об этом думать и иду на клирос, где дьячок уже читает часы.

1887

Пари

I

Была темная, осенняя ночь. Старый банкир ходил у себя в кабинете из угла в угол и вспоминал, как пятнадцать лет тому назад, осенью, он давал вечер. На этом вечере было много умных людей и велись интересные разговоры. Между прочим говорили о смертной казни. Гости, среди которых было немало ученых и журналистов, в большинстве относились к смертной казни отрицательно. Они находили этот способ наказания устаревшим, непригодным для христианских государств и безнравственным. По мнению некоторых из них, смертную казнь повсеместно следовало бы заменить пожизненным заключением.

– Я с вами не согласен, – сказал хозяин-банкир. – Я не пробовал ни смертной казни, ни пожизненного заключения, но если можно судить a priori[12], то, по-моему, смертная казнь нравственнее и гуманнее заключения. Казнь убивает сразу, а пожизненное заключение медленно. Какой же палач человечнее? Тот ли, который убивает вас в несколько минут, или тот, который вытягивает из вас жизнь в продолжение многих лет?

– То и другое одинаково безнравственно, – заметил кто-то из гостей, – потом у что имеет одну и ту же цель – отнятие жизни. Государство – не Бог. Оно не имеет права отнимать то, чего не может вернуть, если захочет.

Среди гостей находился один юрист, молодой человек лет двадцати пяти. Когда спросили его мнения, он сказал:

– И смертная казнь, и пожизненное заключение одинаково безнравственны, но если бы мне предложили выбирать между казнью и пожизненным заключением, то, конечно, я выбрал бы второе. Жить как-нибудь лучше, чем никак.

Поднялся оживленный спор. Банкир, бывший тогда помоложе и нервнее, вдруг вышел из себя, ударил кулаком по столу и крикнул, обращаясь к молодому юристу:

– Неправда! Держу пари на два миллиона, что вы не высидите в каземате и пяти лет.

– Если это серьезно, – ответил ему юрист, – то держу пари, что высижу не пять, а пятнадцать.

– Пятнадцать? Идет! – крикнул банкир. – Господа, я ставлю два миллиона!

– Согласен! Вы ставите миллионы, а я свою свободу! – сказал юрист.

И это дикое, бессмысленное пари состоялось! Банкир, не знавший тогда счета своим миллионам, избалованный и легкомысленный, был в восторге от пари. За ужином он шутил над юристом и говорил:

– Образумьтесь, молодой человек, пока еще не поздно. Для меня два миллиона составляют пустяки, а вы рискуете потерять три-четыре лучших года вашей жизни. Говорю – три-четыре, потому что вы не высидите дольше. Не забывайте также, несчастный, что добровольное заточение гораздо тяжелее обязательного. Мысль, что каждую минуту вы имеете право выйти на свободу, отравит вам в каземате все ваше существование. Мне жаль вас!

И теперь банкир, шагая из угла в угол, вспоминал все это и спрашивал себя:

– К чему это пари? Какая польза от того, что юрист потерял пятнадцать лет жизни, а я брошу два миллиона? Может ли это доказать людям, что смертная казнь хуже или лучше пожизненного заключения? Нет и нет. Вздор и бессмыслица. С моей стороны то была прихоть сытого человека, а со стороны юриста – простая алчность к деньгам...

Далее вспоминал он о том, что произошло после описанного вечера. Решено было, что юрист будет отбывать свое заключение под строжайшим надзором в одном из флигелей, построенных в саду банкира. Условились, что в продолжение пятнадцати лет он будет лишен права переступить порог флигеля, видеть живых людей, слышать человеческие голоса и получать письма и газеты. Ему разрешалось иметь музыкальный инструмент, читать книги, писать письма, пить вино и курить табак. С внешним миром, по условию, он мог сношаться не иначе, как молча, через маленькое окно, нарочно устроенное для этого. Все, что нужно, книги, ноты, вино и прочее, он мог получать по записке в каком угодно количестве, но только через окно. Договор предусматривал все подробности и мелочи, делавшие заключение строго одиночным, и обязывал юриста высидеть ровно пятнадцать лет, с двенадцати часов четырнадцатого ноября 1870 года и кончая двенадцатью часами четырнадцатого ноября 1885 года. Малейшая попытка со стороны юриста нарушить условия, хотя бы за две минуты до срока, освобождала банкира от обязанности платить ему два миллиона.

В первый год заключения юрист, насколько можно было судить по его коротким запискам, сильно страдал от одиночества и скуки. Из его флигеля постоянно днем и ночью слышались звуки рояля. Он отказался от вина и табаку. Вино, писал он, возбуждает желания, а желания – первые враги узника; к тому же нет ничего скучнее, как пить хорошее вино и никого не видеть. А табак портит в его комнате воздух. В первый год юристу посылались книги преимущественно легкого содержания: романы со сложной любовной интригой, уголовные и фантастические рассказы, комедии и т. п.

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Во второй год музыка уже смолкла во флигеле и юрист требовал в своих записках только классиков. В пятый год снова слышалась музыка и узник попросил вина. Те, которые наблюдали за ним в окошко, говорили, что весь этот год он только ел, пил и лежал на постели, часто зевал, сердито разговаривал сам с собою. Книг он не читал. Иногда по ночам он садился писать, писал долго и под утро разрывал на клочки все написанное. Слышали не раз, как он плакал.

Во второй половине шестого года узник усердно занялся изучением языков, философией и историей. Он жадно принялся за эти науки, так что банкир едва успевал выписывать для него книги. В продолжение четырех лет по его требованию было выписано около шестисот томов. В период этого увлечения банкир между прочим получил от своего узника такое письмо: «Дорогой мой тюремщик! Пишу вам эти строки на шести языках. Покажите их сведущим людям. Пусть прочтут. Если они не найдут ни одной ошибки, то умоляю вас, прикажите выстрелить в сад из ружья. Выстрел этот скажет мне, что мои усилия не пропали даром. Гении всех веков и стран говорят на различных языках, но горит во всех их одно и то же пламя. О, если бы вы знали, какое неземное счастье испытывает теперь моя душа оттого, что я умею понимать их!» Желание узника было исполнено. Банкир приказал выстрелить в сад два раза.

Затем после десятого года юрист неподвижно сидел за столом и читал одно только Евангелие. Банкиру казалось странным, что человек, одолевший в четыре года шестисот мудреных томов, потратил около года на чтение одной удобопонятной и не толстой книги. На смену Евангелию пошли история религий и богословие.

В последние два года заточения узник читал чрезвычайно много, без всякого разбора. То он занимался естественными науками, то требовал Байрона или Шекспира. Бывали от него такие записки, где он просил прислать ему в одно и то же время и химию, и медицинский учебник, и роман, и какой-нибудь философский или богословский трактат. Его чтение было похоже на то, как будто он плавал в море среди обломков корабля и, желая спасти себе жизнь, жадно хватался то за один обломок, то за другой!

II

Старик-банкир вспоминал все это и думал: «Завтра в двенадцать часов он получает свободу. По условию, я должен буду уплатить ему два миллиона. Если я уплачу, то все погибло: я окончательно разорен...»

Пятнадцать лет тому назад он не знал счета своим миллионам, теперь же он боялся спросить себя, чего у него больше – денег или долгов? Азартная биржевая игра, рискованные спекуляции и горячность, от которой он не мог отрешиться даже в старости, мало-помалу привели в упадок его дела, и бесстрашный, самонадеянный, гордый богач превратился в банкира средней руки, трепещущего при всяком повышении и понижении бумаг.

– Проклятое пари! – бормотал старик, в отчаянии хватая себя за голову. – Зачем этот человек не умер? Ему еще сорок лет. Он возьмет с меня последнее, женится, будет наслаждаться жизнью, играть на бирже, а я, как нищий, буду глядеть с завистью и каждый день слышать от него одну и ту же фразу: «Я обязан вам счастьем моей жизни, позвольте мне помочь вам!» Нет, это слишком!

Единственное спасение от банкротства и позора – смерть этого человека!

Пробило три часа. Банкир прислушался: в доме все спали и только слышно было, как за окнами шумели озябшие деревья. Стараясь не издавать ни звука, он достал из несгораемого шкапа ключ от двери, которая не отворялась в продолжение пятнадцати лет, надел пальто и вышел из дому.

В саду было темно и холодно. Шел дождь. Резкий сырой ветер с воем носился по всему саду и не давал покоя деревьям. Банкир напрягал зрение, но не видел ни земли, ни белых статуй, ни флигеля, ни деревьев. Подойдя к тому месту, где находился флигель, он два раза окликнул сторожа. Ответа не последовало. Очевидно, сторож укрылся от непогоды и теперь спал где-нибудь на кухне или в оранжерее.

«Если у меня хватит духа исполнить свое намерение, – подумал старик, – то подозрение прежде всего падет на сторожа».

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Он нащупал в потемках ступени и дверь и вошел в переднюю флигеля, затем ощупью пробрался в небольшой коридор и зажег спичку. Тут не было ни души. Стояла чья-то кровать без постели, да темнела в углу чугунная печка. Печати на двери, ведущей в комнату узника, были целы.

Когда потухла спичка, старик, дрожа от волнения, заглянул в маленькое окно.

В комнате узника тускло горела свеча. Сам он сидел у стола. Видны были только его спина, волосы на голове да руки. На столе, на двух креслах и на ковре, возле стола, лежали раскрытые книги.

Прошло пять минут, и узник ни разу не шевельнулся. Пятнадцатилетнее заточение научило его сидеть неподвижно. Банкир постучал пальцем в окно, и узник не ответил на этот стук ни одним движением. Тогда банкир осторожно сорвал с двери печати и вложил ключ в замочную скважину. Заржавленный замок издал хриплый звук, и дверь скрипнула. Банкир ожидал, что тотчас же послышится крик удивления и шаги, но прошло минуты три, и за дверью было тихо по-прежнему. Он решил войти в комнату.

За столом неподвижно сидел человек, не похожий на обыкновенных людей. Это был скелет, обтянутый кожей, с длинными женскими кудрями и с косматой бородой. Цвет лица у него был желтый, с землистым оттенком, щеки впалые, спина длинная и узкая, а рука, которою он поддерживал свою волосатую голову, была так тонка и худа, что на нее было жутко смотреть. В волосах его уже серебрилась седина, и, глядя на старчески изможденное лицо, никто не поверил бы, что ему только сорок лет. Он спал... Перед его склоненною головой на столе лежал лист бумаги, на котором было что-то написано мелким почерком.

«Жалкий человек! – подумал банкир. – Спит и, вероятно, видит во сне миллионы! А стоит мне только взять этого полумертвеца, бросить его на постель, слегка придушить подушкой, и самая добросовестная экспертиза не найдет знаков насильственной смерти. Однако прочтем сначала, что он тут написал».

Банкир взял со стола лист и прочел следующее:

«Завтра в двенадцать часов дня я получаю свободу и право общения с людьми. Но прежде, чем оставить эту комнату и увидеть солнце, я считаю нужным сказать вам несколько слов. По чистой совести и перед Богом, который видит меня, заявляю вам, что я презираю и свободу, и жизнь, и здоровье, и все то, что в ваших книгах называется благами мира.

Пятнадцать лет я внимательно изучал земную жизнь. Правда, я не видел земли и людей, но в ваших книгах я пил ароматное вино, пел песни, гонялся в лесах за оленями и дикими кабанами, любил женщин... Красавицы, воздушные, как облако, созданные волшебством ваших гениальных поэтов, посещали меня ночью и шептали мне чудные сказки, от которых пьянела моя голова. В ваших книгах я взбирался на вершины Эльборуса и Монблана и видел оттуда, как по утрам восходило солнце и как по вечерам заливало оно небо, океан и горные вершины багряным золотом; я видел оттуда, как надо мной, рассекая тучи, сверкали молнии; я видел зеленые леса, поля, реки, озера, города, слышал пение сирен и игру пастушеских свирелей, осязал крылья прекрасных дьяволов, прилетавших ко мне беседовать о Боге... В ваших книгах я бросался в бездонные пропасти, творил чудеса, убивал, сжигал города, проповедовал новые религии, завоевывал целые царства...

Ваши книги дали мне мудрость. Все то, что веками создавала неутомимая человеческая мысль, сдавлено в моем черепе в небольшой ком. Я знаю, что я умнее всех вас.

И я презираю ваши книги, презираю все блага мира и мудрость. Все ничтожно, брэнно, призрачно и обманчиво, как мираж. Пусть вы горды, мудры и прекрасны, но смерть сотрет вас с лица земли наравне с подпольными мышами, а потомство ваше, история, бессмертие ваших гениев замерзнут или сгорят вместе с земным шаром.

Вы обезумели и идете не по той дороге. Ложь принимаете вы за правду и безобразие за красоту. Вы удивились бы, если бы вследствие каких-нибудь обстоятельств на яблонях и апельсиновых деревьях вместо плодов вдруг выросли лягушки и ящерицы или розы стали издавать запах вспотевшей лошади; так я удивляюсь вам, променявшим Небо на землю. Я не хочу понимать вас.

Чтоб показать вам на деле презрение к тому, чем живете вы, я отказываюсь от двух миллионов, о которых я когда-то мечтал, как о рае, и которые теперь презираю. Чтобы лишиться себя права на них, я выйду отсюда за пять часов до условленного срока и таким образом нарушу договор...»

Прочитав это, банкир положил лист на стол, поцеловал странного человека в голову, заплакал и вышел из флигеля. Никогда в другое время, даже после сильных проигрышей на бирже, он не чувствовал такого презрения к самому себе, как теперь. Придя домой, он лег в постель, но волнение и слезы долго не давали ему уснуть...

На другой день утром прибежали бледные сторожа и сообщили ему, что они видели, как человек, живущий во флигеле, пролез через окно в сад, пошел к воротам, затем куда-то скрылся. Вместе со слугами банкир тотчас же отправился во флигель и удостоверил бегство своего узника. Чтобы не возбуждать лишних толков, он взял со стола лист с отречением и, вернувшись к себе, запер его в несгораемый шкаф.

1888

Княгиня

В большие, так называемые Красные ворота N-ского мужского монастыря въехала коляска, заложённая в четверку сытых, красивых лошадей; иеромонахи и послушники, стоявшие толпой около дворянской половины гостиного корпуса, еще издали по кучеру и по лошадям узнали в даме, которая сидела в коляске, свою хорошую знакомую, княгиню Веру Гавриловну.

Старик в ливрее прыгнул с козел и помог княгине выйти из экипажа. Она подняла темную вуаль и не спеша подошла ко всем иеромонахам под благословение, потом ласково кивнула послушникам и направилась в покои.

– Что, соскучились без своей княгини? – говорила она монахам, вносящим ее вещи.  
– Я у вас целый месяц не была. Ну вот приехала, глядите на свою княгиню. А где отец архимандрит? Боже мой, я сгораю от нетерпения! Чудный, чудный старик! Вы должны гордиться, что у вас такой архимандрит.

Когда вошел архимандрит, княгиня восторженно вскрикнула, скрестила на груди руки и подошла к нему под благословение.

– Нет, нет! Дайте мне поцеловать! – сказала она, хватая его за руку и жадно целуя ее три раза. – Как я рада, святой отец, что наконец вижу вас! Вы небось забыли свою княгиню, а я каждую минуту мысленно жила в вашем милом монастыре. Как у вас здесь хорошо! В этой жизни для Бога, вдали от суетного мира, есть какая-то особая прелесть, святой отец, которую я чувствую всей душой, но передать на словах не могу!

У княгини покраснели щеки и навернулись слезы. Говорила она без умолку, горячо, а архимандрит, старик лет семидесяти, серьезный, некрасивый и застенчивый, молчал, лишь изредка говорил отрывисто и по-военному:

– Так точно, ваше сиятельство... слушаю-с... понимаю-с...

– Надолго изволили пожаловать к нам? – спросил он.

– Сегодня я переночую у вас, а завтра поеду к Клавдии Николаевне – давно уж мы с ней не видались, а послезавтра опять к вам и проживу дня три-четыре. Хочу у вас здесь отдохнуть душой, святой отец...

Княгиня любила бывать в N-ском монастыре. В последние два года она облюбовала это место и приезжала сюда почти каждый летний месяц и жила дня по два, по три, а иногда и по неделе. Робкие послушники, тишина, низкие потолки, запах кипариса, скромная закуска, дешевые занавески на окнах – все это трогало ее, умиляло и располагало к созерцанию и хорошим мыслям. Достаточно ей было побыть в покоях полчаса, как ей начинало казаться, что она тоже робка и скромна, что и от нее пахнет кипарисом; прошлое уходило куда-то вдаль, теряло свою цену, и княгиня начинала думать, что, несмотря на свои двадцать девять лет, она очень похожа на старого архимандрита и так же, как он, рождена не для богатства, не для земного величия и любви, а для жизни тихой, скрытой от мира, сумеречной, как покой...

Бывает так, что в темную келию постника, погруженного в молитву, вдруг нечаянно заглянет луч или сядет у окна келии птичка и запоет свою песню; суровый постник невольно улыбнется, и в его груди из-под тяжелой скорби о грехах, как из-под камня, вдруг польется ручьем тихая, безгрешная радость. Княгине казалось, что она приносит с собою извне точно такое же утешение, как луч или птичка. Ее приветливая, веселая улыбка, кроткий взгляд, голос, шутки, вообще вся она, маленькая, хорошо сложенная, одетая в простое черное платье, своим появлением должна была возбуждать в простых, суровых людях чувство умиления и радости. Каждый, глядя на нее, должен был думать: «Бог послал нам ангела»... И чувствуя, что каждый невольно думает это, она улыбалась еще приветливее и старалась походить на птичку.

Напившись чаю и отдохнув, она вышла погулять. Солнце уже село. От монастырского цветника повеяло на княгиню душистой влагой только что политой резеды, из церкви донеслось тихое пение мужских голосов, которое издали казалось очень приятным и грустным. Шла всенощная. В темных окнах, где кротко мерцали лампадные огоньки, в тених, в фигуре старика-монаха, сидевшего на паперти около образа с кружкой, было написано столько безмятежного покоя, что княгине почему-то захотелось плакать...

А за воротами, на аллее между стеной и березами, где стоят скамьи, был уже совсем вечер. Воздух темнел быстро-быстро... Княгиня прошлась по аллее, села на скамью и задумалась.

Она думала о том, что хорошо бы поселиться на всю жизнь в этом монастыре, где жизнь тиха и безмятежна, как летний вечер; хорошо бы позабыть совсем о неблагодарном, распутном князе, о своем громадном состоянии, о кредиторах, которые беспокоят ее каждый день, о своих несчастьях, о горничной Даше, у которой сегодня утром было дерзкое выражение лица. Хорошо бы всю жизнь сидеть здесь на скамье и сквозь стволы берез смотреть, как внизу под горой ключьями бродит вечерний туман, как далеко-далеко над лесом черным облаком, похожим на вуаль, летят на ночлег грачи, как два послушника – один верхом на пегой лошади, другой пешком – гонят лошадей на ночное и, обрадовавшись свободе, шалют, как малые дети; их молодые голоса звонко раздаются в неподвижном воздухе, и можно разобрать каждое слово. Хорошо сидеть и прислушиваться к тишине: то ветер подует и тронет верхушки берез, то лягушка зашелестит в прошлогодней листве, то за стеною колокольные часы пробьют четверть... Сидеть бы неподвижно, слушать и думать, думать, думать...

Мимо прошла старуха с котомкой. Княгиня подумала, что хорошо бы остановить эту старуху и сказать ей что-нибудь ласковое, задушевное, помочь ей... Но старуха ни разу не оглянулась и повернула за угол.

Немного погодя на аллее показался высокий мужчина с седой бородой и в соломенной шляпе. Поравнявшись с княгиней, он снял шляпу и поклонился, и по его большой лысине и острому, горбтому носу княгиня узнала в нем доктора Михаила Ивановича, который лет пять тому назад служил у нее в Дубовках. Она вспомнила, что кто-то ей говорил, что в прошлом году у этого доктора умерла жена, и ей захотелось посочувствовать ему, утешить.

– Доктор, вы, вероятно, меня не узнаете? – спросила она, приветливо улыбаясь.

– Нет, княгиня, узнал, – сказал доктор, снимая еще раз шляпу.

– Ну, спасибо, а то я думала, что и вы забыли свою княгиню. Люди помнят только своих врагов, а друзей забывают. И вы приехали помолиться?

– Я здесь каждую субботу ночую, по обязанности. Я тут лечу.

– Ну, как поживаете? – спросила княгиня, вздыхая. – Я слышала, у вас скончалась супруга! Какое несчастье!

– Да, княгиня, для меня это большое несчастье.

– Что делать! Мы должны с покорностью переносить несчастья. Без воли Провидения ни один волос не падает с головы человека.

– Да, княгиня.

На приветливую, кроткую улыбку княгини и ее вздохи доктор отвечал холодно и сухо: «Да, княгиня». И выражение лица у него было холодное, сухое.

«Что бы еще такое сказать ему?» – подумала княгиня.

– Сколько времени мы с вами не виделись, однако! – сказала она. – Пять лет! За это время сколько воды в море утекло, сколько произошло перемен, даже подумать страшно! Вы знаете, я замуж вышла... из графини стала княгиней. И уже успела разойтись с мужем.

– Да, я слышал.

– Много Бог послал мне испытаний! Вы, вероятно, тоже слышали, я почти разорена. За долги моего несчастного мужа продали у меня Дубовки, и Кирьяково, и Софьино. Остались у меня только Бараново да Михальцево. Страшно оглянуться назад: сколько перемен, несчастий разных, сколько ошибок!

– Да, княгиня, много ошибок.

Княгиня немного смутилась. Она знала свои ошибки; все они были до такой степени интимны, что только одна она могла думать и говорить о них. Она не удержалась и спросила:

– Вы про какие ошибки думаете?

– Вы упомянули о них, стало быть, знаете... – ответил доктор и усмехнулся. – Что ж о них говорить!

– Нет, скажите, доктор. Я буду вам очень благодарна! И пожалуйста, не церемоньтесь со мной. Я люблю слушать правду.

– Я вам не судья, княгиня.

– Не судья? Каким вы тоном говорите, значит, знаете что-то. Скажите!

– Если желаете, то извольте. Только, к сожалению, я не умею говорить и меня не всегда можно понять.

Доктор подумал и начал:

– Ошибок много, но, собственно, главная из них, по моему мнению, это общий дух, которым... который царил во всех ваших имениях. Видите, я не умею выражаться. То есть главное – это нелюбовь, отвращение к людям, какое чувствовалось положительно во всем. На этом отвращении у вас была построена вся система жизни. Отвращение к человеческому голосу, к лицам, к затылкам, шагам... одним словом, ко всему, что составляет человека. У всех дверей и на лестницах стоят сытые, грубые и ленивые гайдуки в ливреях, чтоб не пускать в дом неприлично одетых людей; в передней стоят стулья с высокими спинками, чтоб во время балов и приемов лакеи не пачкали затылками обоев на стенах; во всех комнатах шаршавые ковры, чтоб не было слышно человеческих шагов; каждого входящего обязательно предупреждают, чтобы он говорил потише и поменьше и чтоб не говорил того, что может дурно повлиять на воображение и нервы. А в вашем кабинете не подают человеку руки и не просят его садиться, точно так, как сейчас вы не подали мне руки и не пригласили сесть...

– Извольте, если хотите! – сказала княгиня, протягивая руку и улыбаясь. – Право, сердиться из-за такого пустяка...

– Да разве я сержусь? – засмеялся доктор, но тотчас же вспыхнул, снял шляпу и, размахивая ею, заговорил горячо: – Откровенно говоря, я давно уже ждал случая, чтоб сказать вам всё, всё... То есть я хочу сказать, что вы глядите на всех людей по-наполеоновски, как на мясо для пушек. Но у Наполеона была хоть какая-нибудь идея, а у вас, кроме отвращения, ничего!

– У меня отвращение к людям! – улыбнулась княгиня, пожимая в изумлении плечами.  
– У меня!

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Да, у вас! Вам нужно фактов? Извольте! В Михальцеве у вас живут милостыней три бывших ваших повара, которые ослепли в ваших кухнях от печного жара. Все, что есть на десятках тысяч ваших десятин здорового, сильного и красивого, все взято вами и вашими прихлебателями в гайдуки, лакеи, в кучера. Все это двуногое живье воспиталось в лакействе, объелось, огрубело, потеряло образ и подобие, одним словом... Молодых медиков, агрономов, учителей, вообще интеллигентных работников, Боже мой, отрывают от дела, от честного труда и заставляют из-за куска хлеба участвовать в разных кукольных комедиях, от которых стыдно делается всякому порядочному человеку! Иной молодой человек не прослужит и трех лет, как становится лицемером, подлипалой, ябедником... Хорошо это? Ваши управляющие-поляки, эти подлые шпионы, все эти Казимиры да Каэтаны рыщут от утра до ночи по десяткам тысяч десятин и в угоду вам стараются содрать с одного вола три шкуры. Позвольте, я выражаюсь без системы, но это ничего! Простой народ у вас не считают людьми. Да и тех князей, графов и архиереев, которые приезжали к вам, вы признавали только как декорацию, а не как живых людей. Но главное... главное, что меня больше всего возмущает, – иметь больше миллиона состояния и ничего не сделать для людей, ничего! Княгиня сидела удивленная, испуганная, обиженная, не зная, что сказать и как держать себя. Никогда раньше с нею не говорили таким тоном. Неприятный, сердитый голос доктора и его неуклюжая, заикающаяся речь производили в ее ушах и голове резкий, стучащий шум, потом же ей стало казаться, что жестикулирующий доктор бьет ее своею шляпой по голове.

– Неправда! – выговорила она тихо и умоляющим голосом. – Для людей я много хорошего сделала, это вы сами знаете!

– Да полноте! – крикнул доктор. – Неужели вы еще продолжаете считать вашу благотворительную деятельность чем-то серьезным и полезным, а не кукольной комедией? Ведь то была комедия от начала до конца, то была игра в любовь к ближнему, самая откровенная игра, которую понимали даже дети и глупые бабы! Взять хоть этот ваш – как его? – странноприимный дом для безродных старух, в котором меня вы заставили быть чем-то вроде главного доктора, а сами были почетной опекуней. О, Господи Боже наш, что за учреждение милое! Построили дом с паркетными полами и с флюгером на крыше, собрали в деревнях с десятков старух и заставили их спать под байковыми одеялами, на простынях из голландского полотна и кушать леденцы.

Доктор злорадно прыснул в шляпу и продолжал быстро и заикаясь:

– Была игра! Низшие приютские чины прячут одеяла и простыни под замок, чтобы старухи не пачкали – пусть спят, чертовы перечницы, на полу! Старуха не смеет ни на кровать сесть, ни кофту надеть, ни по гладкому паркету пройтись. Все сохранялось для парада и пряталось от старух, как от воров, а старухи потихоньку кормились и одевались Христа ради и денно и нощно молили Бога, чтоб поскорее уйти из-под ареста и от душеспасительных назиданий сытых подлецов, которым вы поручили надзор за старухами. А высшие чины что делали? Это просто восхитительно! Этак, раза два в неделю, вечером, скачут тридцать пять тысяч курьеров и объявляют, что завтра княгиня, то есть вы, будете в приюте. Это значит, что завтра нужно бросать больных, одеваться и ехать на парад. Хорошо, приезжаю. Старухи во всем чистом и новом уже выстроены в ряд и ждут. Около них ходит отставная гарнизонная крыса – смотритель со своей сладенькой, ябеднической улыбочкой. Старухи зевают и переглядываются, но роптать боятся. Ждем. Скачет младший управляющий. Через полчаса после него старший управляющий, потом главноуправляющий конторой экономии, потом еще кто-нибудь и еще кто-нибудь... скачут без конца! У всех таинственные, торжественные лица. Ждем, ждем, переминаемся с ноги на ногу, посматриваем на часы – все это в гробовом молчании, потому что все мы ненавидим друг друга и на ножах. Проходит час, другой, и вот, наконец, показывается вдали коляска и... и...

Доктор залился тонким смехом и выговорил тоненьким голоском:

– Вы выходите из коляски, и старые ведьмы по команде гарнизонной крысы начинают петь: «Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык...» Недурно?

Доктор захохотал басом и махнул рукой, как бы желая показать, что от смеха он не может выговорить ни одного слова. Смеялся он тяжело, резко, с крепко стиснутыми зубами, как смеются недобрые люди, и по его голосу, лицу и блестящим, немножко наглым глазам можно было понять, что он глубоко презирал и княгиню, и приют, и старух. Во всем, что он так неумело и грубо рассказал, не было ничего смешного и

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
веселого, но хохотал он с удовольствием и даже с радостью.

– А школа? – продолжал он, тяжело дыша от смеха. – Помните, как вы пожелали сами учить мужичьих детей? Должно быть, очень хорошо учили, потому что скоро все мальчишки разбежались, так что потом пришлось пороть их и нанимать за деньги, чтоб они ходили к вам. А помните, как вы пожелали собственноручно кормить соской грудных младенцев, матери которых работают в поле? Вы ходили по деревне и плакали, что младенцев этих нет к вашим услугам – все матери брали их с собой в поле. Потом староста приказал матерям по очереди оставлять своих младенцев вам на потеху. Удивительное дело! Все бежали от ваших благодеяний, как мыши от кота! А почему это? Очень просто! Не оттого, что народ у нас невежественный и неблагодарный, как вы объясняли всегда, а оттого, что во всех ваших затеях, извините меня за выражение, не было ни на один грош любви и милосердия! Было одно только желание забавляться живыми куклами, и ничего другого... Кто не умеет отличать людей от болонки, тот не должен заниматься благотворением. Уверю вас, между людьми и болонками – большая разница!

У княгини страшно билось сердце; в ушах у нее стучало, и все еще ей казалось, что доктор долбит ее своей шляпой по голове. Доктор говорил быстро, горячо и некрасиво, с заиканьем и с излишней жестикуляцией; для нее было только понятно, что с нею говорит грубый, невоспитанный, злой, неблагодарный человек, но чего он хочет от нее и о чем говорит – она не понимала.

– Уйдите! – сказала она плачущим голосом, поднимая вверх руки, чтобы заслонить свою голову от докторской шляпы. – Уйдите!

– А как вы обращаетесь со своими служащими! – продолжал возмущаться доктор. – Вы их за людей не считаете и третируете, как последних мошенников. Например, позвольте вас спросить, за что вы меня уволили? Служил десять лет вашему отцу, потом вам, честно, не зная ни праздников, ни отпусков, заслужил любовь всех на сто верст кругом, и вдруг в один прекрасный день мне объявляют, что я уже не служу! За что? До сих пор не понимаю! Я, доктор медицины, дворянин, студент Московского университета, отец семейства, такая мелкая и ничтожная сошка, что меня можно выгнать в шею без объяснения причин! Зачем со мной церемониться? Я слышал потом, что жена, без моего ведома, тайком ходила к вам раза три просить за меня и вы ее не приняли ни разу. Говорят, плакала в передней. И я этого никогда не прощу ей, покойнице! никогда!

Доктор замолчал и стиснул зубы, напряженно придумывая, что бы еще такое сказать очень неприятное, мстительное. Он что-то вспомнил, и нахмуренное, холодное лицо его вдруг просияло.

– Взять хоть бы ваши отношения к этому монастырю! – заговорил он с жадностью. – Вы никогда никого не щадили, и чем святее место, тем больше шансов, что ему достанется на орехи от вашего милосердия и ангельской кротости. Зачем вы ездите сюда? Что вам здесь у монахов нужно, позвольте вас спросить? Что вам Гекуба и что вы Гекубе? Опять-таки забава, игра, кошунство над человеческой личностью, и больше ничего. Ведь в монашеского Бога вы не веруете, у вас в сердце свой собственный бог, до которого вы дошли своим умом на спиритических сеансах; на обряды церковные вы смотрите снисходительно, к обедне и ко всенощной не ходите, спите до полудня... зачем же вы сюда ездите?.. В чужой монастырь вы ходите со своим богом и воображаете, что монастырь считает это за превеликую честь для себя! Как бы не так! Вы спросите-ка, между прочим, во что обходятся монахам ваши визиты? Вы изволили приехать сюда сегодня вечером, а третьего дня уж тут был верховой, посланный из экономии предупредить, что вы сюда собираетесь. Целый день вчера приготовляли для вас покои и ждали. Сегодня прибыл авангард – наглая горничная, которая то и дело бегаёт через двор, шуршит, пристаёт с вопросами, распоряжается... терпеть не могу! Сегодня монахи весь день были настороже: ведь если вас не встретит с церемонией – беда! Архиепископу пожалуется! «Меня, ваше преосвященство, монахи не любят. Не знаю, чем я их прогневала. Правда, я великая грешница, но ведь я так несчастна!» Уж одному монастырю была из-за вас нахлобучка. Архимандрит занятой, ученый человек, у него и минуты нет свободной, а вы то и дело требуете его к себе в покои. Никакого уважения ни к старости, ни к сану. Добро бы жертвовали много, не так бы уж обидно было, а то ведь за все время монахи от вас и ста рублей не получили!

Когда княгиню беспокоили, не понимали, обижали и когда она не знала, что ей говорить и делать, то обыкновенно она начинала плакать. И теперь в конце концов

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
она закрыла лицо и заплакала тонким, детским голоском. Доктор вдруг замолчал и посмотрел на нее. Лицо его потемнело и стало суровым.

– Простите меня, княгиня, – сказал он глухо. – Я поддался злему чувству и забылся. Это нехорошо.

И, конфузливо кашлянув, забывая надеть шляпу, он быстро отошел от княгини.

На небе уже мерцали звезды. Должно быть, по ту сторону монастыря восходила луна, потому что небо было ясно, прозрачно и нежно. Вдоль белой монастырской стены бесшумно носились летучие мыши.

Часы медленно пробили три четверти какого-то часа, должно быть, девятого. Княгиня поднялась и тихо пошла к воротам. Она чувствовала себя обиженной и плакала, и ей казалось, что и деревья, и звезды, и летучие мыши жалеют ее; и часы пробили мелодично только для того, чтобы посочувствовать ей. Она плакала и думала о том, что хорошо бы ей на всю жизнь уйти в монастырь: в тихие летние вечера она гуляла бы одиноко по аллеям, обиженная, оскорбленная, не понятая людьми, и только бы один Бог да звездное небо видели слезы страдальцы. В церкви еще продолжалась всеночная. Княгиня остановилась и прислушалась к пению; как хорошо это пение звучало в неподвижном, темном воздухе! Как сладко под это пение плакать и страдать!

Придя к себе в покои, она поглядела в зеркало на свое заплаканное лицо и попудрилась, потом села ужинать. Монахи знали, что она любит маринованную стерлядь, мелкие грибки, малагу и простые медовые пряники, от которых во рту пахнет кипарисом, и каждый раз, когда она приезжала, подавали ей все это. Кушая грибки и запивая их малагой, княгиня мечтала о том, как ее окончательно разорят и покинут, как все ее управляющие, приказчики, конторщики и горничные, для которых она так много сделала, изменят ей и начнут говорить грубости, как все люди, сколько их есть на земле, будут нападать на нее, злословить, смеяться; она откажется от своего княжеского титула, от роскоши и общества, уйдет в монастырь, и никому ни одного слова упрека; она будет молиться за врагов своих, и тогда все вдруг поймут ее, придут к ней просить прощения, но уж будет поздно...

А после ужина она опустилась в углу перед образом на колени и прочла две главы из Евангелия.

Потом горничная постлала ей постель, и она легла спать. Потягиваясь под белым покрывалом, она сладко и глубоко вздохнула, как вздыхают после плача, закрыла глаза и стала засыпать...

Утром она проснулась и взглянула на свои часики: было половина десятого. На ковре около кровати тянулась узкая яркая полоса света от луча, который шел из окна и чуть-чуть освещал комнату. За черной занавеской на окне шумели мухи.

«Рано!» – подумала княгиня и закрыла глаза.

Потягиваясь и нежась в постели, она вспомнила вчерашнюю встречу с доктором и все те мысли, с какими вчера она уснула; вспомнила, что она несчастна. Потом пришли ей на память ее муж, живущий в Петербурге, управляющие, доктора, соседи, знакомые чиновники... Длинный ряд знакомых мужских лиц пронесся в ее воображении. Она улыбнулась и подумала, что если бы эти люди сумели проникнуть в ее душу и понять ее, то все они были бы у ее ног...

В четверть двенадцатого она позвала горничную.

– Давайте, Даша, одеваться, – сказала она томно. – Впрочем, сначала подите скажите, чтобы запрягали лошадей. Надо к Клавдии Николаевне ехать.

Выйдя из покоев, чтобы садиться в экипаж, она зажмурилась от яркого дневного света и засмеялась от удовольствия: день был удивительно хорош! Оглядывая прищуренными глазами монахов, которые собрались у крыльца проводить ее, она приветливо закивала головой и сказала:

– Прощайте, мои друзья! До послезавтра.

Ее приятно удивило, что вместе с монахами у крыльца находился и доктор. Лицо его

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
было бледно и сурово.

– Княгиня, – сказал он, снимая шляпу и виновато улыбаясь, – я уже давно жду вас тут. Простите Бога ради... Нехорошее мстительное чувство увлекло меня вчера, и я наговорил вам... глупостей. Одним словом, я прошу прощения.

Княгиня приветливо улыбнулась и протянула к его губам руку. Он поцеловал и покраснел.

Стараясь походить на птичку, княгиня порхнула в экипаж и закивала головой во все стороны. На душе у нее было весело, ясно и тепло, и сама она чувствовала, что ее улыбка необыкновенно ласкова и мягка. Когда экипаж покатило к воротам, потом по пыльной дороге мимо изб и садов, мимо длинных чумацких обозов и богомольцев, шедших вереницами в монастырь, она все еще щурилась и мягко улыбалась. Она думала о том, что нет выше наслаждения, как всюду вносить с собою теплоту, свет и радость, прощать обиды и приветливо улыбаться врагам. Встречные мужики кланялись ей, коляска мягко шуршала, из-под колес валили облака пыли, уносимые ветром на золотистую рожь, и княгине казалось, что ее тело качается не на подушках коляски, а на облаках, и что сама она похожа на легкое, прозрачное облачко...

– Как я счастлива! – шептала она, закрывая глаза. – Как я счастлива!

1889

В ссылке

Старый Семен, прозванный Толковым, и молодой татарин, которого никто не знал по имени, сидели на берегу около костра; остальные три перевозчика находились в избе. Семен, старик лет шестидесяти, худощавый и беззубый, но широкий в плечах и на вид еще здоровый, был пьян; он давно бы уже пошел спать, но в кармане у него был полуштоф, и он боялся, как бы в избе молодцы не попросили у него водки. Татарин был болен, томился и, кутаясь в свои лохмотья, рассказывал, как хорошо в Симбирской губернии и какая у него осталась дома красивая и умная жена. Ему было лет двадцать пять, не больше, а теперь, при свете костра, он, бледный, с печальным болезненным лицом, казался мальчиком.

– Оно, конечно, тут не рай, – говорил Толковый. – Сам видишь: вода, голые берега, кругом глина и больше ничего... Святая давно уже прошла, а на реке лед идет, и утром нынче снег был.

– Худо! Худо! – сказал татарин и огляделся с испугом.

Шагах в десяти текла темная холодная река; она ворчала, хлюпала об изрытый глинистый берег и быстро неслась куда-то в далекое море. У самого берега темнела большая баржа, которую перевозчики называют «карбасом». Далеко на том берегу, потухая и переливаясь, змейками ползали огни: это жгли прошлогоднюю траву. А за змейками опять потемки. Слышно, как небольшие льдины стучат о баржу. Сыро, холодно...

Татарин взглянул на небо. Звезд так же много, как дома у него, такая же чернота кругом, но чего-то недостает. Дома, в Симбирской губернии, совсем не такие звезды и не такое небо.

– Худо! Худо! – повторил он.

– Привыкнешь! – сказал Толковый и засмеялся. – Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губах не обсохло, и кажется тебе по глупости, что несчастней тебя человека нет, а придет время, сам скажешь: дай Бог всякому такой жизни. Ты на меня погляди. Через неделю времени пройдет вода и поставим тут паром, вы все пойдете по Сибири гулять, а я останусь и зачну ходить от берега к берегу. Уж двадцать два года так хожу. День и ночь. Щука и нельма под водой, а я над водой. И слава Богу. Ничего мне не надо. Дай Бог всякому такой жизни.

Татарин подложил в костер хворосту, лег поближе к огню и сказал:

– У меня отец хворый человек. Когда он помрет, мать и жена сюда приедут. Обещали.

– А на что тебе мать и жена? – спросил Толковый. – Одна глупость, брат. Это тебя

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
бес смущает, язвы его душу. Ты его не слушай, проклятого. Не давай ему воли. Он тебе насчет бабы, а ты ему на зло: не желаю! Он тебе насчет воли, а ты упрись и – не желаю! Ничего не надо! Нету ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо, язвы их душу!

Толковый потянул из бутылки и продолжал:

– Я, братуша, не мужик простой, не из хамского звания, а дьячковский сын и, когда на воле жил в Курске, в сюртуке ходил, а теперь довел себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И дай Бог всякому такой жизни. Ничего мне не надо, и никого я не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет. Как прислали меня сюда из России, я с первого же дня уперся: ничего не хочу! Бес мне и про жену, и про родню, и про волю, а я ему: ничего мне не надо! Уперся на своем и вот, как видишь, хорошо живу, не жалею. А ежели кто даст поблажку бесу и хоть раз послушается, тот пропал, нет ему спасения: завязнет в болоте по самую маковку и не вылезет. Не то что ваш брат, глупый мужик, но и благородные и образованные пропадают. Лет пятнадцать назад прислали сюда из России одного барина. С братьями что-то там не поделил и в завещании фальшь сделал какую-то. Сказывали, из князей или баронов, а может, и просто из чиновников – кто его знает! Ну, приехал сюда барин и первым делом купил себе в Мухортинском доме и землю. «Хочу, говорит, своим трудом жить, в поте лица, потому что, говорит, я теперь не господин, а поселенец». Что ж, говорю, помогай Бог, дело хорошее. Человек он был тогда молодой, хлопотун, заботливый; сам и косил, бывало, и рыбу ловил, и верхом верст за шестьдесят ездил. Только вот беда: с первого же года стал ездить в Гирино, в почтовую контору. Стоит, бывало, у меня на пароме и вздыхает: «Эх, Семен, что-то долго не шлют мне из дому денег!» Не надо, говорю, Василий Сергеич, денег. К чему они? Вы старое-то бросьте, забудьте, как будто его вовсе не было, будто снилось оно только, а начинайте жить сызнова. Не слушайте, говорю, беса, – он до добра не доведет, в петлю затянет. Теперь вы денег желаете, говорю, а пройдет мало-мало времени, и, гляди, чего другого захотите, а потом и еще и еще. Ежели, говорю, желаете для себя счастья, то переезжайте все ничего не желайте. Да... Уж ежели, говорю ему, нас с вами судьба обидела горько, то нечего у ней милости просить и кланяться ей в ножки, а надо пренебрегать и смеяться над ней. А то она сама насмеется. Так и говорю ему... Года через два перевозю я его на эту сторону, а он потирает руки и смеется. «Еду, говорит, в Гирино жену встречать. Пожалела, говорит, меня, приехала. Хорошая она у меня, добрая». А сам от радости даже запыхался. Вот через день едет с женой. Дама молодая, красивая, в шляпке; на руках младенец-девочка. И всякого багажу много. А Василий Сергеич мой вертится около нее, не наглядится и никак не нахвалится. «Да, брат Семен, и в Сибири люди живут!» Ну, думаю, ладно, не обрадуешься. И с той поры, почитай, каждую неделю, стал он в Гирино наведываться: не пришли ли из России деньги. Денег-то понадобилось пропасть. «Она, говорит, ради меня тут в Сибири свою молодость и красоту губит и, говорит, со мной мою горькую долю делит, и через это, говорит, я должен предоставлять ей всякое удовольствие...» Чтоб барыне веселей было, завел он знакомство с чиновниками и с шушерой всякой. А всю эту компанию, известно, кормить и поить надо, да чтоб и фортепьян был, и собачка лохматенькая на диване, – чтоб она издохла... Роскошь, одним словом, баловство. Прожила с ним барыня недолго. Где ей? Глина, вода, холодно, ни тебе овоща, ни фрукта, кругом необразованные да пьяные, никакого обхождения, а она дама балованная, столичная... Известно, соскучилась. Да и муж, как ни говори, уже не барин, а поселенец – не та честь. Года через три, помню, ночью под самый Успенев день кричат с того берега. Пошел я туда на пароме, гляжу – барыня, вся окутавшись, а с ней молодой господин, из чиновников. Тройка... Перевез я их сюда, сели – и поминай как звали! Только их и видели. А под утро Василий Сергеич скачет на паре. «Не проезжала ли тут, Семен, моя жена с господином в очках?» Проезжала, говорю, – ищи ветра в поле! Поскакал он вдогонку, суток пять гнался. Когда после перевозил я его на ту сторону, он повалился на паром и давай головой биться о доски и выть. То – то вот, говорю, и есть. Смеюсь и припоминаю ему: «И в Сибири люди живут!» А он еще пуще бьется... Потом, это, захотелось ему воли. Жена в Россию подалась, и его, значит, туда потянуло, чтоб ее повидать и от любовника вызволить. И стал он, братец ты мой, чуть не каждый день скакать то на почту, то в город к начальству. Все прошения посылал и подавал, чтоб его помиловали и назад домой вернули, и сказывал он, на одни телеграммы у него рублей двести пошло. Землю продал, дом жидам заложил. Сам поседел, сгорбился, с лица желтый стал, словно чахоточный. Говорит с тобою, а сам: кхе-кхе-кхе... и слезы на глазах. Промаялся так с прошениями годов восемь, а теперь опять ожил и веселый стал: новое баловство придумал. Дочка, видишь, выросла. Глядит на нее и не надышится. А она, правду

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
говорить, ничего себе: красивенькая, чернобровая и нрава бойкого. Каждое воскресенье он в Гырино ездит с ней в церковь. Стоят оба на пароме рядышком, она смеется, а он с нее глаз не сводит. «Да, говорит, Семен, и в Сибири люди живут. И в Сибири бывает счастье. Погляди-ка, говорит, какая у меня дочка! Чай, другой такой и за тысячу верст не сыщешь». Дочка, говорю, хорошая, это верно, действительно... А сам про себя думаю: «Уж о погоди... Девка она молодая, кровь играет, жить хочется, а какая тут жизнь?» И стала, брат, она тосковать... Чахла-чахла, извелась вся, заболела и теперь без задних ног. Чахотка. Вот тебе и сибирское счастье, язвы его душу, вот тебе и в Сибири люди живут... Стал он все по докторам ездить и возить их к себе. Как заслышит, что верст за двести или за триста есть доктор или знахарь, так и едет за ним. Страсть сколько денег на докторов ушло, а уж, по-моему, лучше пропить эти деньги... Все равно помрет. Помрет она всенепременно, а он тогда совсем пропал. Повесится с тоски или в Россию убежит – дело известное. Убежит, а его поймут, потом суд, каторга, плетей попробует...

– Хорошо, хорошо, – пробормотал татарин, пожимаясь от озноба.

– Что хорошо? – спросил Толковый.

– Жена, дочка... Пускай каторга и пускай тоска, зато он видал и жену и дочку... Ты говоришь, ничего не надо. Но ничего – худо! Жена прожила с ним три года – это ему Бог подарил. Ничего – худо, а три года – хорошо. Как не понимаешь?

Дрожа, с напряжением подбирая русские слова, которых он знал немного, и заикаясь, татарин заговорил о том, что не приведи Бог захворать на чужой стороне, умереть и быть зарытым в холодной ржавой земле, что если бы жена приехала к нему хотя на один день и даже на один час, то за такое счастье он согласился бы принять какие угодно муки и благодарил бы Бога. Лучше один день счастья, чем ничего.

Затем он опять рассказал, какая у него осталась дома красивая и умная жена, потом, взявшись обеими руками за голову, он заплакал и стал уверять Семена, что он ни в чем не виноват и терпит напраслину. Его два брата и дядя увели у мужика лошадей и избили старика до полусмерти, а общество рассудило не по совести и составило приговор, по которому пошли в Сибирь все три брата, а дядя, богатый человек, остался дома.

– Привы-ыкнешь! – сказал Семен. Татарин замолчал и уставился заплаканными глазами на огонь; лицо у него выражало недоумение и испуг, как будто он все еще не понимал, зачем он здесь в темноте и в сырости, около чужих людей, а не в Симбирской губернии. Толковый лег около огня, чему-то усмехнулся и затянул вполголоса песню.

– Что ей за радость с отцом-то? – проговорил он, немного погодя. – Он ее любит, утешается, это точно; но, брат, тоже пальца в рот ему не клади: строгий старик, крутой старик. А молодым девкам не строгость нужна... Им нужна ласка да ха-ха-ха, да хи-хо-хо, духи да помада. Да... Эх, дела, дела! – вздохнул Семен и тяжело поднялся. – Водка вся вышла, значит, спать пора. А? Пойду, брат...

Оставшись один, татарин подложил хворосту, лег и, глядя на огонь, стал думать о родной деревне и о своей жене; приехала бы жена хоть на месяц, хоть на день, а там, если хочет, пусть уезжает назад! Лучше месяц или даже день, чем ничего. Но если жена сдержит обещание и приедет, то чем ее придется кормить? Где она будет тут жить?

– Если нет чего-чего кушать, то как живи? – спросил вслух татарин.

За то, что он теперь день и ночь работал веслом, ему платили только десять копеек в сутки; правда, проезжие давали на чай и на водку, но ребята делили весь доход между собой, а татарину ничего не давали и только смеялись над ним. А от нужды голодно, холодно и страшно... Теперь бы, когда все тело болит и дрожит, пойти в избушку и лечь спать, но там укрыться нечем и холоднее, чем на берегу; здесь тоже нечем укрыться, но все же можно хоть костер развести...

Через неделю, когда вода совсем спадет и поставят тут паром, все перевозчики, кроме Семена, станут уже не нужны, и татарин начнет ходить из деревни в деревню и просить милостыни и работы. Жене только семнадцать лет; она красивая,

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
избалованная, застенчивая, – неужели и она будет ходить по деревьям с открытым лицом и просить милостыню? Нет, об этом даже подумать страшно...

Уже светало; ясно обозначались баржа, кусты тальника на воде и зыбь, а назад оглянуться – там глинистый обрыв, внизу избушка, крытая бурою соломой, а выше лепятся деревенские избы. На деревне уже пели петухи.

Рыжий глинистый обрыв, баржа, река, чужие, недобрые люди, голод, холод, болезни – быть может, всего этого нет на самом деле. Вероятно, все это только снится, – думал татарин. Он чувствовал, что спит, и слышал свой храп... Конечно, он дома, в Симбирской губернии, и стоит ему только назвать жену по имени, как она откликнется; а в соседней комнате мать... Однако какие бывают страшные сны! К чему они? Татарин улыбнулся и открыл глаза. Какая это река? Волга?

Шел снег.

– Подава-ай! – кричал кто-то на той стороне. – Карба-а-ас!

Татарин очнулся и пошел будить товарищей, чтобы плыть на ту сторону. Надевая на ходу рваные тулупы, бранясь хриплыми спросонок голосами и пожимаясь от холода, показались на берегу перевозчики. После сна река, от которой веяло пронизывающим холодом, по-видимому, казалась им отвратительной и жуткой. Не спеша попрыгали они в карбас... Татарин и три перевозчика взяли за длинные весла с широкими лопастями, похожие в потемках на рачьи клешни, Семен навалился животом на длинный руль. А на той стороне все еще продолжали кричать и два раза выстрелили из револьвера, думая, вероятно, что перевозчики спят или ушли на деревню, в кабак.

– Ладно, успеешь! – проговорил Толковый тоном человека, убежденного, что на этом свете нет надобности спешить, – все равно, мол, толку не выйдет.

Тяжелая неуклюжая баржа отделилась от берега и поплыла меж кустов тальника, и только по тому, что тальник медленно уходил назад, заметно было, что она не стояла на одном месте, а двигалась. Перевозчики мерно, враз, взмахивали веслами; Толковый лежал животом на руле и, описывая в воздухе дугу, летал с одного борта на другой. Было в потемках похоже на то, как будто люди сидели на каком-то допотопном животном с длинными лапами и уплывали на нем в холодную унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара.

Миновали тальник, выплыли на простор. На том берегу уже слышали стук и мерное плесканье весел и кричали: «Скорей! Скорей!» Прошло еще минут с десять, и баржа тяжело ударилась о пристань.

– И все оно сыплет, и все оно сыплет! – бормотал Семен, вытирая с лица снег. – И откуда оно берется, Бог его знает!

На той стороне ждал худощавый, невысокого роста старик в полушубке на лисьем меху и в белой мерлушковой шапке. Он стоял поодаль от лошадей и не двигался; у него было угрюмое, сосредоточенное выражение, как будто он старался что-то вспомнить и сердился на свою непослушную память. Когда Семен подошел к нему и, улыбаясь, снял шапку, то он сказал:

– Спешу в Анастасьевку. Дочери опять хуже, а в Анастасьевку, говорят, нового доктора назначили.

Втащили тарантас на баржу и поплыли назад. Человек, которого Семен назвал Василием Сергеичем, все время, пока плыли, стоял неподвижно, крепко сжав свои толстые губы и глядя в одну точку; когда ямщик попросил у него позволения покурить в его присутствии, он ничего не ответил, точно не слышал. А Семен, лежа животом на руле, насмешливо глядел на него и говорил:

– И в Сибири люди живут. Живу-ут!

На лице у Толкового было торжествующее выражение, как будто он что-то доказал и будто радовался, что вышло именно так, как он предполагал. Несчастный, беспомощный вид человека в полушубке на лисьем меху, по-видимому, доставлял ему большое удовольствие.

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Грязно теперь ехать, Василий Сергеич, – сказал он, когда на берегу запрягали лошадей. – Погодили бы ездить еще недельки с две, пока суше станет. А то и вовсе бы не ездили... Ежели бы толк какой от езды был, а то, сами изволите знать, люди веки вечные ездят, и днем и ночью, а все никакого толку. Право!

Василий Сергеич молча дал на водку, сел в тарантас и поехал дальше.

– Вот, за доктором поскакал! – сказал Семен, пожимаясь от холода. – Да, ищи настоящего доктора, догоняй ветра в поле, хватай черта за хвост, язви твою душу! Экие чудачки, Господи, прости меня, грешного!

Татарин подошел к Толковому и, глядя на него с ненавистью и с отвращением, дрожа и примешивая к своей ломаной речи татарские слова, заговорил:

– Он хорошо... хорошо, а ты – худо! Ты худо! Барин хорошая душа, отличный, а ты зверь, ты худо!

Барин живой, а ты дохлый... Бог создал человека, чтоб живой был, чтоб и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего, и тебе ничего... Ты камень – и Бог тебя не любит, а барина любит!

Все засмеялись; татарин брезгливо поморщился, махнул рукой и, кутаясь в свои лохмотья, пошел к костру. Перевозчики и Семен поплелись в избушку.

– Холодно! – прохрипел один перевозчик, растягиваясь на соломе, которую был покрыт сырой глинистый пол.

– Да, не тепло! – согласился другой. – Жизнь каторжная!..

Все улеглись. Дверь отворилась от ветра, и в избушку понесло снегом. Встать и затворить дверь никому не хотелось: было холодно и лень.

– А мне хорошо! – проговорил Семен, засыпая. – Дай Бог всякому такой жизни.

– Ты, известно, семикаторжный. Тебя и черти не берут.

Со двора слышались звуки, похожие на собачий вой.

– Что это? Кто это там?

– Это татарин плачет.

– Ишь ты... Чудак!

– Привы-ыкнет! – сказал Семен и тотчас же заснул.

Скоро заснули и остальные. А дверь так и осталась не затворенной.

1892

Черный монах

I

Андрей Васильич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы. Он не лечился, но как-то вскользь, за бутылкой вина, поговорил с приятелем-доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне. Кстате же пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовку и погостить. И он решил, что ему в самом деле нужно проехать.

Сначала – это было в апреле – он поехал к себе, в свою родовую Ковринку, и здесь прожил в уединении три недели; потом, дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадях к своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, известному в России садоводу. От Ковринки до Борисовки, где жили Песоцкие, считалось не больше семидесяти верст, и ехать по мягкой весенней дороге в покойной рессорной коляске было истинным наслаждением.

Дом у Песоцкого был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru) и здесь оканчивался обрывистым, крутым глинистым берегом, на котором росли сосны с обнажившимися корнями, похожими на мохнатые лапы; внизу нелюдимо блестя вода, носилась с жалобным писком кулики, и всегда тут было такое настроение, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самого дома, во дворе и в фруктовом саду, который вместе с питомниками занимал десятин тридцать, было весело и жизнерадостно даже в дурную погоду. Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпанов всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая черным как сажа, вообще такого богатства цветов, как у Песоцкого, Коврину не случалось видеть нигде в другом месте. Весна была еще только в начале, и самая настоящая роскошь цветников пряталась еще в теплицах, но уж и того, что цвело вдоль аллей и там и сям на клумбах, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя в царстве нежных красок, особенно в ранние часы, когда на каждом лепестке сверкала роса.

То, что было декоративною частью сада и что сам Песоцкий презрительно обзывал пустяками, производило на Коврина когда-то в детстве сказочное впечатление. Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой! Тут были шпалеры из фруктовых деревьев, груша, имевшая форму пирамидального тополя, шаровидные дубы и липы, зонтик из яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862 из слив – цифра, означавшая год, когда Песоцкий впервые занялся садоводством. Попадались тут и красивые стройные деревца с прямыми и крепкими, как у пальм, стволами, и, только пристально всмотревшись, можно было узнать в этих деревцах крыжовник или смородину. Но что больше всего веселило в саду и придавало ему оживленный вид, так это постоянное движение. От раннего утра до вечера около деревьев, кустов, на аллеях и клумбах, как муравьи, копошились люди с тачками, мотыгами, лейками...

Коврин приехал к Песоцким вечером, в десятом часу. Таню и ее отца, Егора Семеныча, он застал в большой тревоге. Ясное, звездное небо и термометр пророчили мороз к утру, а между тем садовник Иван Карлыч уехал в город и положиться было не на кого. За ужином говорили только об утреннике и было решено, что Таня не ляжет спать и в первом часу пройдет по саду и посмотрит, все ли в порядке, а Егор Семеныч встанет в три часа и даже раньше.

Коврин просидел с Таней весь вечер и после полуночи отправился с ней в сад. Было холодно. Во дворе уже сильно пахло гарью. В большом фруктовом саду, который назывался коммерческим и приносил Егору Семенычу ежегодно несколько тысяч чистого дохода, стлался по земле черный, густой, едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи. Деревья тут стояли в шашечном порядке, ряды их были прямы и правильны, точно шеренги солдат, и эта строгая педантическая правильность и то, что все деревья были одного роста и имели совершенно одинаковые кроны и стволы, делало картину однообразной и даже скучной. Коврин и Таня прошли по рядам, где тлели костры из навоза, соломы и всяких отбросов, и изредка им встречались работники, которые бродили в дыму, как тени. Цвели только вишни, сливы и некоторые сорта яблонь, но весь сад утопал в дыму, и только около питомников Коврин вздохнул полной грудью.

– Я еще в детстве чихал здесь от дыма, – сказал он, пожимая плечами, – но до сих пор не понимаю, как это дым может спасти от мороза.

– Дым заменяет облака, когда их нет... – ответила Таня.

– А для чего нужны облака?

– В пасмурную и облачную погоду не бывает утренников.

– Вот как!

Он засмеялся и взял ее за руку. Ее широкое, очень серьезное, озябшее лицо с тонкими черными бровями, поднятый воротник пальто, мешавший ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, в подобранном от росы платье, умиляла его.

– Господи, она уже взрослая! – сказал он. – Когда я уезжал отсюда в последний раз, пять лет назад, вы были еще совсем дитя. Вы были такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили короткое платьице, и я дразнил вас цаплей... Что делает время!

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Да, пять лет! – вздохнула Таня. – Много воды утекло с тех пор. Скажите, Андрюша, по совести, – живо заговорила она, глядя ему в лицо, – вы отвыкли от нас? Впрочем, что же я спрашиваю? Вы мужчина, живете уже своею, интересною жизнью, вы величина... Отчуждение так естественно! Но как бы ни было, Андрюша, мне хочется, чтобы вы считали нас своими. Мы имеем на это право.

– Я считаю, Таня.

– Честное слово?

– Да, честное слово.

– Вы сегодня удивлялись, что у нас так много ваших фотографий. Ведь вы знаете, мой отец обожает вас. Иногда мне кажется, что вас он любит больше, чем меня. Он гордится вами. Вы ученый, необыкновенный человек, вы сделали себе блестящую карьеру, и он уверен, что вы вышли такой оттого, что он воспитал вас. Я не мешаю ему так думать. Пусть.

Уже начинался рассвет, и это особенно было заметно по той отчетливости, с какою стали выделяться в воздухе клубы дыма и кроны деревьев. Пели соловьи, и с полей доносился крик перепелов.

– Однако пора спать, – сказала Таня. – Да и холодно. – Она взяла его под руку. – Спасибо, Андрюша, что приехали. У нас неинтересные знакомые, да и тех мало. У нас только сад, сад, сад, – и больше ничего. Штамб, полуштамб, – засмеялась она, – апорт, ранет, боровинка, окулировка, копулировка... Вся, вся наша жизнь ушла в сад, мне даже ничего никогда не снится, кроме яблонь и груш. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и еще чего-нибудь для разнообразия. Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры и с мебели чехлы снимали. Я была тогда девочкой и все-таки понимала.

Она говорила с большим чувством. Ему почему-то вдруг пришло в голову, что в течение лета он может привязаться к этому маленькому, слабому, многоречивому существу, увлечься и влюбиться, – в положении их обоих это так возможно и естественно! Эта мысль умилила и насмешила его; он нагнулся к милому, озабоченному лицу и запел тихо:

Онегин, я скрывать не стану,  
Безумно я люблю Татьяну...

Когда пришли домой, Егор Семеныч уже встал. Коврину не хотелось спать, он разговорился со стариком и вернулся с ним в сад. Егор Семеныч был высокого роста, широк в плечах, с большим животом и страдал одышкой, но всегда ходил так быстро, что за ним трудно было поспеть. Вид он имел крайне озабоченный, все куда-то торопился и с таким выражением, как будто опоздай он хоть на одну минуту, то все погибло!

– Вот, брат, история... – начал он, останавливаясь, чтобы перевести дух. – На поверхности земли, как видишь, мороз, а подними на палке термометр сажени на две повыше земли, там тепло... Отчего это так?

– Право, не знаю, – сказал Коврин и засмеялся.

– Гм... Всего знать нельзя, конечно... Как бы обширен ум ни был, всего туда не поместишь. Ты ведь все больше насчет философии?

– Да. Читаю психологию, занимаюсь же вообще философией.

– И не прискучает?

– Напротив, этим только я и живу.

– Ну, дай Бог... – проговорил Егор Семеныч, в раздумье поглаживая свои седые бакены. – Дай Бог... Я за тебя очень рад... рад, братец...

Но вдруг он прислушался и, сделавши страшное лицо, побежал в сторону и скоро исчез за деревьями, в облаках дыма.

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Кто это привязал лошадь к яблоне? – послышался его отчаянный, душу раздирающий крик. – Какой это мерзавец и каналья осмелился привязать лошадь к яблоне? Боже мой, Боже мой! Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили! Пропал сад! Погиб сад! Боже мой!

Когда он вернулся к Коврину, лицо у него было изнеможенное, оскорбленное.

– Ну что ты поделаешь с этим анафемским народом? – сказал он плачущим голосом, разводя руками. – Степка возил ночью навоз и привязал лошадь к яблоне! Замотал, подлец, вожжи туго-натуго, так что кора в трех местах потерлась. Каково! Говорю ему, а он – толкач толкачом и только глазами хлопает! Повесить мало!

Успокоившись, он обнял Коврина и поцеловал в щеку.

– Ну, дай Бог... дай Бог... – забормотал он. – Я очень рад, что ты приехал. Несказанно рад... Спасибо.

Потом он все тою же быстрою походкой и с озабоченным лицом обошел весь сад и показал своему бывшему воспитаннику все оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои две пасеки, которые называл чудом нашего столетия.

Пока они ходили, взошло солнце и ярко осветило сад. Стало тепло. Предчувствуя ясный, веселый, длинный день, Коврин вспомнил, что ведь это еще только начало мая и что еще впереди целое лето, такое же ясное, веселое, длинное, и вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба, растроганные, пошли в дом и стали пить чай из старинных фарфоровых чашек, со сливками, с сытными, сдобными кренделями, – и эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшиеся в нем впечатления прошлого сливались вместе; от них в душе было тесно, но хорошо.

Он дождался, когда проснулась Таня, и вместе с нею напил кофе, погулял, потом пошел к себе в комнату и сел за работу. Он внимательно читал, делал заметки и изредка поднимал глаза, чтобы взглянуть на открытые окна или на свежие, еще мокрые от росы цветы, стоявшие в вазах на столе, и опять опускал глаза в книгу, и ему казалось, что в нем каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия.

## II

В деревне он продолжал вести такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе. Он много читал и писал, учился итальянскому языку и, когда гулял, с удовольствием думал о том, что скоро опять сядет за работу. Он спал так мало, что все удивлялись; если нечаянно уснет днем на полчаса, то уже потом не спит всю ночь и после бессонной ночи, как ни в чем не бывало, чувствует себя бодро и весело.

Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары. К Песоцким часто, чуть ли не каждый день, приезжали барышни-соседки, которые вместе с Таней играли на рояле и пели; иногда приезжал молодой человек, сосед, хорошо игравший на скрипке. Коврин слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них, и последнее выражалось физически тем, что у него слипались глаза и клонило голову набок.

Однажды после вечернего чая он сидел на балконе и читал. В гостиной в это время Таня – сопрано, одна из барышень – контральто и молодой человек на скрипке разучивали известную серенаду Брага. Коврин вслушивался в слова – они были русские – и никак не мог понять их смысла. Наконец, оставив книгу и вслушавшись внимательно, он понял: девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и потому обратно улетает в небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Он встал и в изнеможении прошелся по гостиной, потом по зале. Когда пение прекратилось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон.

– Меня сегодня с самого утра занимает одна легенда, – сказал он. – Не помню, вычитал ли я ее откуда или слышал, но легенда какая-то странная, ни с чем не сообразная. Начать с того, что она не отличается ясностью. Тысячу лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии... За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж.

Теперь забудьте все законы оптики, которых легенда, кажется, не признает, и слушайте дальше. От миража получился другой мираж, потом от другого третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Мидии, то на Дальнем Севере... Наконец, он вышел из пределов земной атмосферы и теперь блуждает по всей вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть. Быть может, его видят теперь где-нибудь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается в том, что ровно через тысячу лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять попадет в земную атмосферу и покажется людям. И будто бы эта тысяча лет уже на исходе... По смыслу легенды, черного монаха мы должны ждать не сегодня завтра.

– Странный мираж, – сказала Таня, которой не понравилась легенда.

– Но удивительнее всего, – засмеялся Коврин, – что я никак не могу вспомнить, откуда попала мне в голову эта легенда. Читал где? Слышал? Или, быть может, черный монах снился мне? Клянусь Богом, не помню. Но легенда меня занимает. Я сегодня о ней целый день думаю.

Отпустив Таню к гостям, он вышел из дому и в раздумье прошелся около клумб. Уже садилось солнце. Цветы, оттого что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах. В доме опять запели, и издали скрипка производила впечатление человеческого голоса. Коврин, напрягая мысль, чтобы вспомнить, где он слышал или читал легенду, направился, не спеша, в парк и незаметно дошел до реки.

По тропинке, бежавшей по крутому берегу мимо обнаженных корней, он спустился вниз к воде, обеспокоил тут куликов, спугнул двух уток. На угрюмых соснах кое-где еще отсвечивали последние лучи заходящего солнца, но на поверхности реки был уже настоящий вечер. Коврин по лавам перешел на другую сторону. Перед ним теперь лежало широкое поле, покрытое молодой, еще не цветущей рожью. Ни человеческого жилья, ни живой души вдали, и кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведет в то самое неизвестное загадочное место, куда только что опустилось солнце и где так широко и величаво пламенеет вечерняя заря.

«Как здесь просторно, свободно, тихо! – думал Коврин, идя по тропинке. – И кажется, весь мир смотрит на меня, притаился и ждет, чтобы я понял его...»

Но вот по ржи пробежали волны, и легкий вечерний ветерок нежно коснулся его непокрытой головы. Через минуту опять порыв ветра, но уже сильнее, – зашумела рожь, и послышался сзади глухой ропот сосен. Коврин остановился в изумлении. На горизонте, точно вихрь или смерч, поднимался от земли до неба высокий черный столб. Контур у него были неясны, но в первое же мгновение можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался со страшною быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чем ближе он подвигался, тем становился все меньше и яснее. Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать...

Монах в черной одежде, с седою головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо... Босые ноги его не касались земли. Уже пронесся сажени на три, он оглянулся на Коврина, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в то же время лукаво. Но какое бледное, страшно бледное, худое лицо! Опять начиная расти, он пролетел через реку, неслышно ударился о глинистый берег и сосны и, пройдя сквозь них, исчез как дым.

– Ну, вот видите ли... – пробормотал Коврин. – Значит, в легенде правда.

Не стараясь объяснить себе странное явление, довольный одним тем, что ему удалось так близко и так ясно видеть не только черную одежду, но даже лицо и глаза монаха, приятно взволнованный, он вернулся домой.

В парке и в саду покойно ходили люди, в доме играли, – значит, только он один видел монаха. Ему сильно хотелось рассказать обо всем Тане и Егору Семенычу, но он сообразил, что они наверное сочтут его слова за бред, и это испугает их; лучше промолчать. Он громко смеялся, пел, танцевал мазурку, ему было весело, и все, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что он очень интересен.

III

После ужина, когда уехали гости, он пошел к себе в комнату и лег на диван: ему хотелось думать о монахе. Но через минуту вошла Таня.

– Вот, Андрюша, почитайте статьи отца, – сказала она, подавая ему пачку брошюр и оттисков. – Прекрасные статьи. Он отлично пишет.

– Ну, уж и отлично! – говорил Егор Семеныч, входя за ней и принужденно смеясь; ему было совестно. – Не слушай, пожалуйста, не читай! Впрочем, если хочешь уснуть, то, пожалуй, читай: прекрасное снотворное средство.

– По-моему, великолепные статьи, – сказала Таня с глубоким убеждением. – Вы прочтите, Андрюша, и убедите папу писать почаще. Он мог бы написать полный курс садоводства.

Егор Семеныч напряженно захохотал, покраснел и стал говорить фразы, какие обыкновенно говорят конфузяться авторы. Наконец, он стал сдаваться.

– В таком случае прочти сначала статью Гоше и вот эти русские статейки, – забормотал он, перебирая дрожащими руками брошюры, – а то тебе будет непонятно. Прежде чем читать мои возражения, надо знать, на что я возражаю. Впрочем, ерунда... скучища. Да и спать пора, кажется.

Таня вышла. Егор Семеныч подсел к Коврину на диван и глубоко вздохнул.

– Да, братец ты мой... – начал он после некоторого молчания. – Так-то, любезнейший мой магистр. Вот я и статьи пишу, и на выставках участвую, и медали получаю... У Песоцкого, говорят, яблоки с голову, и Песоцкий, говорят, садом себе состояние нажил. Одним словом, богат и славен кочубей. Но спрашивается: к чему все это? Сад, действительно, прекрасный, образцовый... Это не сад, а целое учреждение, имеющее высокую государственную важность, потому что это, так сказать, ступень в новую эру русского хозяйства и русской промышленности. Но к чему? Какая цель?

– Дело говорит само за себя.

– Я не в том смысле. Я хочу спросить: что будет с садом, когда я помру? В том виде, в каком ты видишь его теперь, он без меня не продержится и одного месяца. Весь секрет успеха не в том, что сад велик и рабочих много, а в том, что я люблю дело – понимаешь? – люблю, быть может, больше, чем самого себя. Ты посмотри на меня: я все сам делаю. Я работаю от утра до ночи. Все прививки я делаю сам, обрезку – сам, посадки – сам, все – сам. Когда мне помогают, я ревную и раздражаюсь до грубости. Весь секрет в любви, то есть в зорком хозяйском глазе, да в хозяйских руках, да в том чувстве, когда поедешь куда-нибудь в гости на часок, сидишь, а у самого сердце не на месте, сам не свой: боишься, как бы в саду чего не случилось. А когда я умру, кто будет смотреть? Кто будет работать? Садовник? Работники? Да? Так вот что я тебе скажу, друг любезный: первый враг в нашем деле не заяц, не хрущ и не мороз, а чужой человек.

– А Таня? – спросил Коврин, смеясь. – Нельзя, чтобы она была вреднее, чем заяц. Она любит и понимает дело.

– Да, она любит и понимает. Если после моей смерти ей достанется сад и она будет хозяйкой, то, конечно, лучшего и желать нельзя. Ну а если, не дай Бог, она выйдет замуж? – зашептал Егор Семеныч и испуганно посмотрел на Коврина. – То-то вот и есть! Выйдет замуж, пойдут дети, тут уже о саде некогда думать.

Я чего боюсь, главным образом: выйдет за какого-нибудь молодца, а тот сжадничает и сдаст сад в аренду торговкам, и все пойдет к черту в первый же год! В нашем деле бабы – бич Божий!

Егор Семеныч вздохнул и помолчал немного.

– Может, это и эгоизм, но откровенно говорю: не хочу, чтобы Таня шла замуж. Боюсь! Тут к нам ездит один ферт со скрипкой и пиликает; знаю, что Таня не пойдет за него, хорошо знаю, но видеть его не могу! Вообще, брат, я большой-таки чудак. Сознаюсь.

Егор Семеныч встал и в волнении прошелся по комнате, и видно было, что он хочет сказать что-то очень важное, но не решается.

– Я тебя горячо люблю и буду говорить с тобой откровенно, – решил он наконец, засовывая руки в карманы. – К некоторым щекотливым вопросам я отношусь просто и говорю прямо то, что думаю, и терпеть не могу так называемых сокровенных мыслей. Говорю прямо: ты единственный человек, за которого я не побоялся бы выдать дочь. Ты человек умный, с сердцем, и не дал бы погибнуть моему любимому делу. А главная причина – я тебя люблю, как сына... и горжусь тобой. Если бы у вас с Таней наладился как-нибудь роман, то – что ж? я был бы очень рад и даже счастлив. Говорю это прямо, без жеманства, как честный человек.

Коврин засмеялся. Егор Семенович открыл дверь, чтобы выйти, и остановился на пороге.

– Если бы у тебя с Таней сын родился, то я бы из него садовода сделал, – сказал он, подумав. – Впрочем, сие есть мечтание пустое... Спокойной ночи.

Оставшись один, Коврин лег поудобнее и принялся за статьи. У одной было такое заглавие: «О промежуточной культуре», у другой: «Несколько слов по поводу заметки г. Z. о перештыковке почвы под новый сад», у третьей: «Еще об окулировке спящим глазком» – и все в таком роде. Но какой непокойный, неровный тон, какой нервный, почти болезненный задор! Вот статья, кажется, с самым мирным заглавием и безразличным содержанием: говорится в ней о русской антоновской яблоне. Но начинается ее Егор Семеныч с *audiatur altera pars*[13] и кончает – *sapienti sat*[14], а между этими изречениями целый фонтан разных ядовитых слов по адресу «ученого невежества наших патентованных гг. садоводов, наблюдающих природу с высоты своих кафедр», или г. Гоше, «успех которого создан профанами и дилетантами», и тут же некстати натянутое и неискреннее сожаление, что мужиков, ворующих фрукты и ломающих при этом деревья, уже нельзя драть розгами.

«Дело красивое, милое, здоровое, но и тут страсти и война, – подумал Коврин. – Должно быть, везде и на всех поприщах идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью. Вероятно, это так нужно».

Он вспомнил про Таню, которой так нравятся статьи Егора Семеныча. Небольшого роста, бледная, тощая, так что ключицы видно; глаза широко раскрытые, темные, умные, все куда-то вглядываются и чего-то ищут; походка, как у отца, мелкая, торопливая. Она много говорит, любит поспорить, и при этом всякую даже незначительную фразу сопровождает выразительной мимикой и жестиком. Должно быть, нервна в высшей степени.

Коврин стал читать дальше, но ничего не понял и бросил. Приятное возбуждение, то самое, с каким он давеча танцевал мазурку и слушал музыку, теперь томило его и вызывало в нем множество мыслей. Он поднялся и стал ходить по комнате, думая о черном монахе. Ему пришло в голову, что если этого странного, сверхъестественного монаха видел только он один, то, значит, он болен и дошел уже до галлюцинаций. Это соображение испугало его, но ненадолго.

«Но ведь мне хорошо, и я никому не делаю зла; значит, в моих галлюцинациях нет ничего дурного», – подумал он, и ему опять стало хорошо.

Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнявшую все его существо, потом опять прошелся и сел за работу. Но мысли, которые он вычитывал из книги, не удовлетворяли его. Ему хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего. Под утро он разделся и нехотя лег в постель: надо же было спать!

Когда послышались шаги Егора Семеныча, уходившего в сад, Коврин позвонил и приказал лакею принести вина. Он с наслаждением выпил несколько рюмок лафита, потом укрывшись с головой; сознание его затуманилось, и он уснул.

#### IV

Егор Семеныч и Таня часто ссорились и говорили друг другу неприятности.

Как-то утром они о чем-то повздорили. Таня заплакала и ушла к себе в комнату. Она не выходила ни обедать, ни чай пить. Егор Семеныч сначала ходил важный, надутый, как бы желая дать понять, что для него интересы справедливости и

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
порядка выше всего на свете, но скоро не выдержал характера и пал духом. Он печально бродил по парку и все вздыхал: «Ах, Боже мой, Боже мой!» и за обедом не съел ни одной крошки. Наконец, виноватый, замученный совестью, он постучал в запертую дверь и позвал робко:

– Таня! Таня?

И в ответ ему из-за двери послышался слабый, изнемогший от слез и в то же время решительный голос:

– Оставьте меня, прошу вас.

Томление хозяев отражалось на всем доме, даже на людях, которые работали в саду. Коврин был погружен в свою интересную работу, но под конец и ему стало скучно и неловко. Чтобы как-нибудь развеять общее дурное настроение, он решил вмешаться и перед вечером постучался к Тане. Его впустили.

– Ай-ай, как стыдно! – начал он шутливо, с удивлением глядя на заплаканное, покрытое красными пятнами, скорбное лицо Тани. – Неужели так серьезно? Ай-ай!

– Но если бы вы знали, как он меня мучит! – сказала она, и слезы, горючие, обильные слезы брызнули из ее больших глаз. – Он замучил меня! – продолжала она, ломая руки. – Я ему ничего не говорила... ничего... Я только сказала, что нет надобности держать... лишних работников, если... если можно, когда угодно, иметь поденщиков. Ведь... ведь работники уже целую неделю ничего не делают... Я... я только это сказала, а он раскричался и наговорил мне... много обидного, глубоко оскорбительного. За что?

– Полно, полно, – проговорил Коврин, поправляя ей прическу. – Побранились, поплакали, и будет. Нельзя долго сердиться, это нехорошо... тем более что он вас бесконечно любит.

– Он мне... мне испортил всю жизнь, – продолжала Таня, всхлипывая. – Только и слышу одни оскорбления и... и обиды. Он считает меня лишней в его доме. Что же? Он прав. Я завтра уеду отсюда, поступлю в телеграфистки... Пусть...

– Ну, ну, ну... Не надо плакать, Таня. Не надо, милая... Вы оба вспыльчивы, раздражительны, и оба виноваты. Пойдемте, я вас помирю.

Коврин говорил ласково и убедительно, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, как будто ее в самом деле постигло страшное несчастье. Ему было жаль ее тем сильнее, что горе у нее было не серьезное, а страдала она глубоко. Каких пустяков было достаточно, чтобы сделать это создание несчастным на целый день, да и пожалуй, на всю жизнь! Утешая Таню, Коврин думал о том, что, кроме этой девушки и ее отца, во всем свете днем с огнем не сыщешь людей, которые любили бы его, как своего, как родного; если бы не эти два человека, то, пожалуй, он, потерявший отца и мать в раннем детстве, до самой смерти не узнал бы, что такое искренняя ласка и та наивная, не рассуждающая любовь, какую питают только к очень близким, кровным людям. И он чувствовал, что его полубольным, издерганным нервам, как железо магниту, отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки. Он никогда бы уж не мог полюбить здоровую, крепкую, краснощековую женщину, но бледная, слабая, несчастная Таня ему нравилась.

И он охотно гладил ее по волосам и плечам, пожимал ей руки и утирал слезы... Наконец, она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на свою тяжелую, невыносимую жизнь в этом доме, умоляя Коврина войти в ее положение; потом стала мало-помалу улыбаться и вздыхать, что Бог послал ей такой дурной характер, в конце концов, громко рассмеявшись, назвала себя дурой и выбежала из комнаты.

Когда немного погодя Коврин вышел в сад, Егор Семеныч и Таня уже как ни в чем не бывало гуляли рядышком по аллее и оба ели ржаной хлеб с солью, так как оба были голодны.

V

Довольный, что ему так удалась роль миротворца, Коврин пошел в парк. Сидя на скамье и размышляя, он слышал стук экипажей и женский смех – это приехали гости. Когда вечерние тени стали ложиться в сад, неясно послышались звуки скрипки,

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
поющие голоса, и это напомнило ему про черного монаха. Где-то, в какой стране или на какой планете носится теперь эта оптическая несообразность?

Едва он вспомнил легенду и нарисовал в своем воображении то темное привидение, которое видел на ржаном поле, как из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста с непокрытой седою головой, весь в темном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мертвом лице резко выделялись черные брови. Приветливо кивая головой, этот нищий или странник бесшумно подошел к скамье и сел, и Коврин узнал в нем черного монаха. Минуту оба смотрели друг на друга – Коврин с изумлением, а монах ласково и, как и тогда, немножко лукаво, с выражением себе на уме.

– Но ведь ты мираж, – проговорил Коврин. – Зачем же ты здесь и сидишь на одном месте? Это не вяжется с легендой.

– Это все равно, – ответил монах не сразу, тихим голосом, обращаясь к нему лицом. – Легенда, мираж и я – все это продукт твоего возбужденного воображения. Я – призрак.

– Значит, ты не существуешь? – спросил Коврин.

– Думай, как хочешь, – сказал монах и слабо улыбнулся. – Я существую в твоём воображении, а воображение твоё есть часть природы, значит, я существую и в природе.

– У тебя очень старое, умное и в высшей степени выразительное лицо, точно ты в самом деле прожил больше тысячи лет, – сказал Коврин. – Я не знал, что моё воображение способно создавать такие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?

– Да. Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками Божиими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе Божественную, Небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно.

– Ты сказал: вечной правде... Но разве людям доступна и нужна вечная правда, если нет вечной жизни?

– Вечная жизнь есть, – сказал монах.

– Ты веришь в бессмертие людей?

– Да, конечно. Вас, людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно; развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько тысяч лет раньше введёте его в царство вечной правды – и в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословение Божие, которое почилло на людях.

– А какая цель вечной жизни? – спросил Коврин.

– Как и всякой жизни – наслаждение. Истинное наслаждение в познании, а вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания, и в этом смысле сказано: в доме Отца Моего обители многи суть.

– Если бы ты знал, как приятно слушать тебя! – сказал Коврин, потирая от удовольствия руки.

– Очень рад.

– Но я знаю: когда ты уйдёшь, меня будет беспокоить вопрос о твоей сущности. Ты призрак, галлюцинация. Значит, я психически болен, ненормален?

– Хотя бы и так. Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и утомился, а это значит, что своё здоровье ты принёс в жертву идее и близко время, когда ты отдашь ей и самую жизнь. Чего лучше? Это – то, к чему стремятся все вообще одаренные свыше благородные натуры.

– Если я знаю, что я психически болен, то могу ли я верить себе?

– А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков? Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и т. п. могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей.

– Римляне говорили: *mens sana in corpore sano*[15].

– Не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроение, возбуждение, экстаз – все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью. Повторяю: если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо.

– Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, – сказал Коврин. – Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли. Но давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечною правдой?

Монах не ответил. Коврин взглянул на него и не разглядел лица: черты его туманились и расплывались. Затем у монаха стали исчезать голова, руки; туловище его смешалось со скамьей и с вечерними сумерками, и он исчез совсем.

– Галлюцинация кончилась! – сказал Коврин и засмеялся. – А жаль.

Он пошел назад к дому веселый и счастливый. То небольшое, что сказал ему черный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, всему существу его. Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько тысяч лет раньше сделают человечество достойным Царствия Божия, то есть избавят людей от нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать идее все – молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага, – какой высокий, какой счастливый удел! У него пронеслось в памяти его прошлое, чистое, целомудренное, полное труда, он вспомнил то, чему учился и чему сам учил других, и решил, что в словах монаха не было преувеличения.

Навстречу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье.

– Вы здесь? – сказала она. – А мы вас ищем, ищем... Но что с вами? – удивилась она, взглянув на его восторженное, сияющее лицо и на глаза, полные слез. – Какой вы странный, Андрюша.

– Я доволен, Таня, – сказал Коврин, кладя ей руки на плечи. – Я больше чем доволен, я счастлив! Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо. Милая Таня, я так рад, так рад!

Он горячо поцеловал ей обе руки и продолжал:

– Я только что пережил светлые, чудные, неземные минуты. Но я не могу рассказать вам всего, потому что вы назовете меня сумасшедшим или не поверите мне. Будем говорить о вас. Милая, славная Таня! Я вас люблю и уже привык любить. Наша близость, встречи наши по десяти раз на день стали потребностью моей души. Не знаю, как я буду обходиться без вас, когда уеду к себе.

– Ну! – засмеялась Таня. – Вы забудете про нас через два дня. Мы люди маленькие, а вы великий человек.

– Нет, будем говорить серьезно! – сказал он. – Я возьму вас с собой, Таня. Да? Вы поедете со мной? Вы хотите быть моей?

– Ну! – сказала Таня и хотела опять засмеяться, но смеха не вышло, и красные пятна выступили у нее на лице.

Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не к дому, а дальше в парк.

– Я не думала об этом... не думала! – говорила она, как бы в отчаянии сжимая руки.

А Коврин шел за ней и говорил все с тем же сияющим, восторженным лицом:

– Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив! Счастлив!

Она была ошеломлена, согнулась, съежилась и точно состарилась сразу на десять лет, а он находил ее прекрасной и громко выражал свой восторг:

– Как она хороша!

#### VI

Узнав от Коврина, что не только роман наладился, но что даже будет свадьба, Егор Семеныч долго ходил из угла в угол, стараясь скрыть волнение. Руки у него стали трястись, шея надулась и побагровела, он велел заложить беговые дрожки и уехал куда-то. Таня, видевшая, как он хлестнул по лошади и как глубоко, почти на уши, надвинул фуражку, поняла его настроение, заперлась у себя и проплакала весь день.

В оранжереях уже поспели персики и сливы; упаковка и отправка в Москву этого нежного и прихотливого груза требовала много внимания, труда и хлопот. Благодаря тому, что лето было очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево, на что ушло много времени и рабочей силы, и появилась во множестве гусеница, которую работники, и даже Егор Семеныч и Таня, к великому омерзению Коврина, давили прямо пальцами. При всем том нужно уже было принимать заказы к осени на фрукты и деревья и вести большую переписку. И в самое горячее время, когда, казалось, ни у кого не было свободной минуты, наступили полевые работы, которые отняли у сада больше половины рабочих; Егор Семеныч, сильно загоревший, замученный, злой, скакал то в сад, то в поле и кричал, что его разрывают на части и что он пустит себе пулю в лоб.

А тут еще возня с приданым, которому Песоцкие придавали не малое значение; от звяканья ножниц, стука швейных машин, угара утюгов и от капризов модистки, нервной, обидчивой дамы, у всех в доме кружились головы. И как нарочно, каждый день приезжали гости, которых надо было забавлять, кормить и даже оставлять ночевать. Но вся эта каторга прошла незаметно, как в тумане. Таня чувствовала себя так, как будто любовь и счастье захватили ее врасплох, хотя с четырнадцати лет была уверена почему-то, что Коврин женится именно на ней. Она изумлялась, недоумевала, не верила себе... То вдруг нахлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться Богу, а то вдруг вспомнится, что в августе придется расставаться с родным гнездом и оставлять отца, или, Бог весть откуда, придет мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великого человека, как Коврин, – и она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжение нескольких часов. Когда бывают гости, вдруг ей покажется, что Коврин необыкновенно красив и что в него влюблены все женщины и завидуют ей, и душа ее наполняется восторгом и гордостью, как будто она победила весь свет, но стоит ему приветливо улыбнуться какой-нибудь барышне, как она уж дрожит от ревности, уходит к себе – и опять слезы. Эти новые ощущения завладели ею совершенно, она помогала отцу машинально и не замечала ни персиков, ни гусениц, ни рабочих, ни того, как быстро бежало время.

С Егором Семенычем происходило почти то же самое. Он работал с утра до ночи, все спешил куда-то, выходил из себя, раздражался, но все это в каком-то волшебном полусне. В нем уже сидело как будто бы два человека: один был настоящий Егор Семеныч, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову, и другой, не настоящий, точно полупьяный, который вдруг на полуслове прерывал деловой разговор, трогал садовника за плечо и начинал бормотать:

– Что ни говори, а кровь много значит. Его мать была удивительная, благороднейшая, умнейшая женщина. Было наслаждением смотреть на ее доброе, ясное, чистое лицо, как у ангела. Она прекрасно рисовала, писала стихи, говорила на пяти иностранных языках, пела... Бедняжка, Царство ей Небесное, скончалась от чахотки.

Не настоящий Егор Семеныч вздыхал и, помолчав, продолжал:

– Когда он был мальчиком и рос у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взгляд, и движения, и разговор нежны и изящны, как у матери. А ум? Он всегда поражал нас своим умом. Да и то сказать, недаром он

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
магистр! Недаром! А погоди, Иван Карлыч, каков он будет лет через десять! Рукой не достанешь!

Но тут настоящий Егор Семеныч, спохватившись, сделал страшное лицо, хватал себя за голову и кричал:

– Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад! Погиб сад!

А Коврин работал с прежним усердием и не замечал сутолоки. Любовь только подлила масла в огонь. После каждого свидания с Таней он, счастливый, восторженный, шел к себе и с той же страстностью, с какою он только что целовал Таню и объяснял ей в любви, брался за книгу или за свою рукопись. То, что говорил черный монах об избранниках Божиих, вечной правде, о блестящей будущности человечества и проч., придавало его работе особенное, необыкновенное значение и наполняло его душу гордостью, сознанием собственной высоты. Раз или два в неделю, в парке или в доме, он встречался с черным монахом и подолгу беседовал с ним, но это не пугало, а, напротив, восхищало его, так как он был уже крепко убежден, что подобные видения посещают только избранных, выдающихся людей, посвятивших себя служению идее.

Однажды монах явился во время обеда и сел в столовой у окна. Коврин обрадовался и очень ловко завел разговор с Егором Семенычем и с Таней о том, что могло быть интересно для монаха; черный гость слушал и приветливо кивал головой, а Егор Семеныч и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозревая, что Коврин говорит не с ними, а со своей галлюцинацией.

Незаметно подошел Успенский пост, а за ним скоро и день свадьбы, которую, по настойчивому желанию Егора Семеныча, отпраздновали «с треском», то есть с бестолковой гульбой, продолжавшеюся двое суток. Съели и выпили тысячи на три, но от плохой наемной музыки, крикливых тостов и лакейской беготни, от шума и тесноты не поняли вкуса ни в дорогих винах, ни в удивительных закусках, выписанных из Москвы.

## VII

Как-то в одну из длинных зимних ночей Коврин лежал в постели и читал французский роман. Бедняжка Таня, у которой по вечерам болела голова от непривычки жить в городе, давно уже спала и изредка в бреду произносила какие-то бессвязные фразы.

Пробило три часа. Коврин потушил свечу и лег; долго лежал с закрытыми глазами, но уснуть не мог оттого, как казалось ему, что в спальне было очень жарко и бредила Таня. В половине пятого он опять зажег свечу и в это время увидел черного монаха, который сидел в кресле около постели.

– Здравствуй, – сказал монах и, помолчав немного, спросил: – О чем ты теперь думаешь?

– О славе, – ответил Коврин. – Во французском романе, который я сейчас читал, изображен человек, молодой ученый, который делает глупости и чахнет от тоски по славе. Мне эта тоска непонятна.

– Потому что ты умен. Ты к славе относишься безразлично, как к игрушке, которая тебя не занимает.

– Да, это правда.

– Известность не улыбается тебе. Что лестного, или забавного, или поучительного в том, что твое имя вырежут на могильном памятнике и потом время сотрет эту надпись вместе с позолотой? Да и, к счастью, вас слишком много, чтобы слабая человеческая память могла удержать ваши имена.

– Понятно, – согласился Коврин. – Да и зачем их помнить? Но давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, о счастье. Что такое счастье?

Когда часы били пять, он сидел на кровати, свесив ноги на ковер, и говорил, обращаясь к монаху:

– В древности один счастливый человек в конце концов испугался своего счастья – так оно было велико! – и, чтобы умилостивить богов, принес им в жертву свой

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
любимый перстень. Знаешь? И меня, как Поликрата, начинает немножко беспокоить мое счастье. Мне кажется странным, что от утра до ночи я испытываю одну только радость, она наполняет всего меня и заглушает все остальные чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль или скука. Вот я не сплю, у меня бессонница, но мне не скучно. Серьезно говорю: я начинаю недоумевать.

– Но почему? – изумился монах. – Разве радость сверхъестественное чувство? Разве она не должна быть нормальным состоянием человека? Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, чем он свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь. Сократ, Диоген и Марк Аврелий испытывали радость, а не печаль. И апостол говорит: постоянно радуйтесь. Радуйся же и будь счастлив.

– А вдруг прогневаются боги? – пошутил Коврин и засмеялся. – Если они отнимут у меня комфорт и заставят меня зябнуть и голодать, то это едва ли придется мне по вкусу.

Таня между тем проснулась и с изумлением и ужа сом смотрела на мужа. Он говорил, обращаясь к креслу, жестикулировал и смеялся: глаза его блестели и в смехе было что-то странное.

– Андрюша, с кем ты говоришь? – спросила она, хватая его за руку, которую он протянул к монаху. – Андрюша! С кем?

– А? С кем? – смутился Коврин. – Вот с ним... Вот он сидит, – сказал он, указывая на черного монаха.

– Никого здесь нет... никого! Андрюша, ты болен!

Таня обняла мужа и прижалась к нему, как бы защищая его от видений, и закрыла ему глаза рукой.

– Ты болен! – зарыдала она, дрожа всем телом. – Прости меня, милый, дорогой, но я давно уже заметила, что душа у тебя расстроена чем-то... Ты психически болен, Андрюша...

Дрожь ее сообщилась и ему. Он взглянул еще раз на кресло, которое уже было пусто, почувствовал вдруг слабость в руках и ногах, испугался и стал одеваться.

– Это ничего, Таня, ничего... – бормотал он, дрожа. – В самом деле я немножко нездоров... пора уже сознаться в этом.

– Я уже давно замечала... и папа заметил, – говорила она, стараясь сдержать рыдания. – Ты сам с собой говоришь, как-то странно улыбаешься... не спишь. О, Боже мой, Боже мой, спаси нас! – проговорила она в ужасе. – Но ты не бойся, Андрюша, не бойся, Бога ради, не бойся...

Она тоже стала одеваться. Только теперь, глядя на нее, Коврин понял всю опасность своего положения, понял, что значат черный монах и беседы с ним. Для него теперь было ясно, что он сумасшедший.

Оба, сами не зная зачем, оделись и пошли в залу: она впереди, он за ней. Тут уж, разбуженный рыданиями, в халате и со свечой в руках стоял Егор Семеныч, который гостил у них.

– Ты не бойся, Андрюша, – говорила Таня, дрожа как в лихорадке, – не бойся... Папа, это все пройдет... все пройдет...

Коврин от волнения не мог говорить. Он хотел сказать тестю шутивным тоном:

– Поздравьте, я, кажется, сошел с ума, – но пошевелил только губами и горько улыбнулся.

В девять часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору. Он стал лечиться.

#### VIII

Опять наступило лето, и доктор приказал ехать в деревню. Коврин уже выздоровел, перестал видеть черного монаха, и ему оставалось только подкрепить свои

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
физические силы. Живя у тестя в деревне, он пил много молока, работал только два часа в сутки, не пил вина и не курил.

Под Ильин день вечером в доме служили всенощную. Когда дьячок подал священнику кадило, то в старом громадном зале запахло точно кладбищем, и Коврину стало скучно. Он вышел в сад. Не замечая роскошных цветов, он погулял по саду, посидел на скамье, потом прошелся по парку; дойдя до реки, он спустился вниз и тут постоял в раздумье, глядя на воду. Угрюмые сосны с мохнатыми корнями, которые в прошлом году видели его здесь таким молодым, радостным и бодрым, теперь не шептались, а стояли неподвижные и немые, точно не узнавали его. И в самом деле, голова у него острижена, длинных красивых волос уже нет, походка вялая, лицо, сравнительно с прошлым летом, пополнело и побледнело.

По лавам он перешел на тот берег. Там, где в прошлом году была рожь, теперь лежал в рядах скошенный овес. Солнце уже зашло, и на горизонте пылало широкое красное зарево, предвещавшее на завтра ветреную погоду. Было тихо. Всмотриваясь по тому направлению, где в прошлом году показался впервые черный монах, Коврин постоял минут двадцать, пока не начала тускнуть вечерняя заря...

Когда он, вялый, неудовлетворенный, вернулся домой, всенощная уже кончилась. Егор Семеныч и Таня сидели на ступенях террасы и пили чай. Они о чем-то говорили, но, увидев Коврина, вдруг замолчали, и он заключил по их лицам, что разговор у них шел о нем.

– Тебе, кажется, пора уже молоко пить, – сказала Таня мужу.

– Нет, не пора... – ответил он, садясь на самую нижнюю ступень. – пей сама. Я не хочу.

Таня тревожно переглянулась с отцом и сказала виноватым голосом:

– Ты сам замечаешь, что молоко тебе полезно.

– Да, очень полезно! – усмехнулся Коврин. – Поздравляю вас: после пятницы во мне прибавился еще один фунт весу. – Он крепко сжал руками голову и проговорил с тоской: – Зачем, зачем вы меня лечили? Бромистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг – все это в конце концов доведет меня до идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив, я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все: я – посредственность, мне скучно жить... О, как вы жестоко поступили со мной! Я видел галлюцинации, но кому это мешало? Я спрашиваю: кому это мешало?

– Бог знает, что ты говоришь! – вздохнул Егор Семеныч. – Даже слушать скучно.

– А вы не слушайте.

Присутствие людей, особенно Егора Семеныча, теперь уж раздражало Коврина, он отвечал ему сухо, холодно и даже грубо и иначе не смотрел на него, как насмешливо и с ненавистью, а Егор Семеныч смущался и виновато покашливал, хотя вины за собой никакой не чувствовал. Не понимая, отчего так резко изменились их милые, благодушные отношения, Таня жалась к отцу и с тревогой заглядывала ему в глаза; она хотела понять и не могла, и для нее ясно было только, что отношения с каждым днем становятся все хуже и хуже, что отец в последнее время сильно постарел, а муж стал раздражителен, капризен, придирчив и неинтересен. Она уже не могла смеяться и петь, за обедом ничего не ела, не спала по целым ночам, ожидая чего-то ужасного, и так измучилась, что однажды пролежала в обмороке от обеда до вечера. Во время всенощной ей показалось, что отец плакал, и теперь, когда они втроем сидели на террасе, она делала над собой усилия, чтобы не думать об этом.

– Как счастливы Будда и Магомет или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения! – сказал Коврин. – Если бы Магомет принимал от нервов бромистый калий, работал только два часа в сутки и пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки. Доктора и добрые родственники в конце концов сделают то, что человечество отупеет, посредственность будет считаться гением и цивилизация погибнет.

– Если бы вы знали, – сказал Коврин с досадой, – как я вам благодарен!

Он почувствовал сильное раздражение и, чтобы не сказать лишнего, быстро встал и пошел в дом. Было тихо, и в открытые окна несся из сада аромат табака и ялапы. В громадном темном зале на полу и на рояли зелеными пятнами лежал лунный свет. Коврину припомнились восторги прошлого лета, когда так же пахло ялапой и в окнах светилась луна. Чтобы вернуть прошлогоднее настроение, он быстро пошел к себе в кабинет, закурил крепкую сигару и приказал лакею принести вина. Но от сигары во рту стало горько и противно, а вино оказалось не такого вкуса, как в прошлом году. И что значит отвыкнуть! От сигары и двух глотков вина у него закружилась голова и началось сердцебиение, так что понадобилось принимать бромистый калий.

Перед тем как ложиться спать, Таня говорила ему:

– Отец обожает тебя. Ты на него сердись за что-то, и это убивает его. Посмотри: он стареет не по дням, а по часам. Умоляю тебя, Андрюша, Бога ради, ради своего покойного отца, ради моего покоя, будь с ним ласков!

– Не могу и не хочу.

– Но почему? – спросила Таня, начиная дрожать всем телом. – Объясни мне, почему?

– Потому, что он мне не симпатичен, вот и все, – небрежно сказал Коврин и пожал плечами, – но не будем говорить о нем: он твой отец.

– Не могу, не могу понять! – проговорила Таня, сжимая себе виски и глядя в одну точку. – Что-то непостижимое, ужасное происходит у нас в доме.

Ты изменился, стал на себя не похож.. Ты, умный, необыкновенный человек, раздражаешься из-за пустяков, вмешиваешься в дразги.. Такие мелочи волнуют тебя, что иной раз просто удивляешься и не веришь: ты ли это? Ну, ну, не сердись, не сердись, – продолжала она, пугаясь своих слов и целуя ему руки. – Ты умный, добрый, благородный. Ты будешь справедлив к отцу. Он такой добрый!

– Он не добрый, а добродушный. Водевильные дядюшки, вроде твоего отца, с сытыми добродушными физиономиями, необыкновенно хлебосольные и чудаковатые, когда-то умиляли меня и смешили и в повестях, и в водевилях, и в жизни, теперь же они мнe противны. Это эгоисты до мозга костей. Противнее всего мне их сытость и этот желудочный, чисто бычий или кабаний оптимизм.

Таня села на постель и положила голову на подушку.

– Это пытка, – проговорила она, и по ее голосу видно было, что она уже крайне утомлена и что ей тяжело говорить. – С самой зимы ни одной покойной минуты.. Ведь это ужасно, Боже мой! Я страдаю..

– Да, конечно, я – Ирод, а ты и твой папенька – египетские младенцы. Конечно!

Его лицо показалось Тане некрасивым и неприятным. Ненависть и насмешливое выражение не шли к нему. Да и раньше она замечала, что на его лице уже чего-то недостает, как будто с тех пор, как он остригся, изменилось и лицо. Ей захотелось сказать ему что-нибудь обидное, но тотчас же она поймала себя на неприязненном чувстве, испугалась и пошла из спальни.

IX

Коврин получил самостоятельную кафедру. Вступительная лекция была назначена на второе декабря, и об этом было вывешено объявление в университетском коридоре. Но в назначенный день он известил инспектора студентов телеграммой, что читать лекции не будет по болезни.

У него шла горлом кровь. Он плевал кровью, но случалось раза два в месяц, что она текла обильно, и тогда он чрезвычайно слабел и впадал в сонливое состояние. Эта болезнь не особенно пугала его, так как ему было известно, что его покойная мать жила точно с такою же болезнью десять лет, даже больше; и доктора уверяли, что это не опасно, и советовали только не волноваться, вести правильную жизнь и поменьше говорить.

В январе лекция опять не состоялась по той же причине, а в феврале было уже поздно начинать курс. Пришлось отложить до будущего года.

Жил он уже не с Таней, а с другой женщиной, которая была на два года старше его и ухаживала за ним, как за ребенком. Настроение у него было мирное, покорное: он охотно подчинялся, и когда Варвара Николаевна – так звали его подругу – собралась везти его в Крым, то он согласился, хотя предчувствовал, что из этой поездки не выйдет ничего хорошего.

Они приехали в Севастополь вечером и остановились в гостинице, чтобы отдохнуть и завтра ехать в Ялту. Обоих утомила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Коврин не ложился. Еще дома, за час до отъезда на вокзал, он получил от Тани письмо и не решился его распечатать, и теперь оно лежало у него в боковом кармане, и мысль о нем неприятно волновала его. Искренно, в глубине души, свою женитьбу на Тане он считал теперь ошибкой, был доволен, что окончательно разошелся с ней, и воспоминание об этой женщине, которая в конце концов обратилась в ходячие живые мощи, и в которой, как кажется, все уже умерло, кроме больших, пристально вглядывающихся, умных глаз, воспоминание о ней возбуждало в нем одну только жалость и досаду на себя. Почерк на конверте напомнил ему, как он года два назад был несправедлив и жесток, как вымещал на ни в чем не повинных людях свою душевную пустоту, скуку, одиночество и недовольство жизнью. Кстати же он вспомнил, как однажды он рвал на мелкие клочки свою диссертацию и все статьи, написанные за время болезни, и как бросал в окно, и клочки, летая по ветру, цеплялись за деревья и цветы; в каждой строчке видел он странные, ни на чем не основанные претензии, легкомысленный задор, дерзость, манию величия, и это производило на него такое впечатление, как будто он читал описание своих пороков; но когда последняя тетрадка была разорвана и полетела в окно, ему почему-то вдруг стало досадно и горько, он пошел к жене и наговорил ей много неприятного. Боже мой, как он изводил ее! Однажды, желая причинить ей боль, он сказал ей, что ее отец играл в их романе непривлекательную роль, так как просил его жениться на ней; Егор Семеныч нечаянно подслушал это, вбежал в комнату и с отчаяния не мог выговорить ни одного слова, и только топтался на одном месте и как-то странно мычал, точно у него отнялся язык, а Таня, глядя на отца, вскрикнула раздирающим голосом и упала в обморок. Это было безобразно.

Все это приходило на память при взгляде на знакомый почерк. Коврин вышел на балкон; была тихая теплая погода, и пахло морем. Чудесная бухта отражала в себе луну и огни и имела цвет, которому трудно подобрать название. Это было нежное и мягкое сочетание синего с зеленым; местами вода походила цветом на синий купорос, а местами, казалось, лунный свет сгустился и вместо воды наполнял бухту, а в общем какое согласие цветов, какое мирное, покойное и высокое настроение!

В нижнем этаже, под балконом, окна, вероятно, были открыты, потому что отчетливо слышались женские голоса и смех. По-видимому, там была вечеринка.

Коврин сделал над собой усилие, распечатал письмо и, войдя к себе в номер, прочел:

«Сейчас умер мой отец. Этим я обязана тебе, так как ты убил его. Наш сад погибает, в нем хозяйничают уже чужие, то есть происходит то самое, чего так боялся бедный отец. Этим я обязана тоже тебе. Я ненавижу тебя всею моею душой и желаю, чтобы ты скорее погиб. О, как я страдаю! Мою душу жжет невыносимая боль... Будь ты проклят. Я приняла тебя за обыкновенного человека, за гения, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшим...»

Коврин не мог дальше читать, изорвал письмо и бросил. Им овладело беспокойство, похожее на страх. За ширмами спала Варвара Николаевна, и слышно было, как она дышала; из нижнего этажа доносились женские голоса и смех, но у него было такое чувство, как будто во всей гостинице кроме него не было ни одной живой души. Оттого, что несчастная, убитая горем Таня в своем письме проклинала его и желала его гибели, ему было жутко, и он мельком взглядывал на дверь, как бы боясь, чтобы не вошла в номер и не распорядилась им опять та неведомая сила, которая в какие-нибудь два года произвела столько разрушений в его жизни и в жизни близких.

Он уже по опыту знал, что когда разгуляются нервы, то лучшее средство от них –

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
это работа. Надо сесть за стол и заставить себя, во что бы то ни стало, сосредоточиться на одной какой-нибудь мысли. Он достал из своего красного портфеля тетрадку, на которой был набросан конспект небольшой компилятивной работы, придуманной им на случай, если в Крыму покажется скучно без дела. Он сел за стол и занялся этим конспектом, и ему казалось, что к нему возвращается его мирное, покорное, безразличное настроение. Тетradка с конспектом навела даже на размышление о суете мирской. Он думал о том, как много берет жизнь за те ничтожные или весьма обыкновенные блага, какие она может дать человеку. Например, чтобы получить под сорок лет кафедру, быть обыкновенным профессором, излагать вялым, скучным, тяжелым языком обыкновенные и притом чужие мысли, – одним словом, для того, чтобы достигнуть положения посредственного ученого, ему, Коврину, нужно было учиться пятнадцать лет, работать дни и ночи, перенести тяжелую психическую болезнь, пережить неудачный брак и проделать много всяких глупостей и несправедливостей, о которых приятно было бы не помнить. Коврин теперь ясно сознавал, что он – посредственность, и охотно мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что он есть.

Конспект совсем было успокоил его, но разорванное письмо белело на полу и мешало ему сосредоточиться. Он встал из-за стола, подобрал клочки письма и бросил в окно, но подул с моря легкий ветер, и клочки рассыпались по подоконнику. Опять им овладело беспокойство, похожее на страх, и стало казаться, что во всей гостинице кроме него нет ни одной души... Он вышел на балкон. Бухта, как живая, глядела на него множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз и манила к себе. В самом деле, было жарко и душно и не мешало бы выкупаться.

Вдруг в нижнем этаже под балконом заиграла скрипка, и запели два нежных женских голоса. Это было что-то знакомое. В романсе, который пели внизу, говорилось о какой-то девушке, больной воображением, которая слышала ночью в саду таинственные звуки и решила, что это гармония священная, нам, смертным, непонятная... У Коврина захватило дыхание, и сердце сжалось от грусти, и чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди.

Черный высокий столб, похожий на вихрь или смерч, показался на том берегу бухты. Он со страшною быстротой двигался через бухту по направлению к гостинице, становясь все меньше и темнее, и Коврин едва успел посторониться, чтобы дать дорогу... Монах с непокрытою седою головой и с черными бровями, босой, скрестивши на груди руки, пронесся мимо и остановился среди комнаты.

– Отчего ты не поверил мне? – спросил он с укоризной, глядя ласково на Коврина.  
– Если бы ты поверил мне тогда, что ты гений, то эти два года ты провел бы не так печально и скудно.

Коврин уже верил тому, что он избранник Божий и гений, он живо припомнил все свои прежние разговоры с черным монахом и хотел говорить, но кровь текла у него из горла прямо на грудь, и он, не зная, что делать, водил руками по груди, и манжетки стали мокрыми от крови. Он хотел позвать Варвару Николаевну, которая спала за ширмами, сделал усилие и проговорил:

– Таня!

Он упал на пол и, поднимаясь на руки, опять позвал:

– Таня!

Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна. Он видел на полу около своего лица большую лужу крови и не мог уже от слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу под балконом играли серенаду, а черный монах шептал ему, что он гений и что он умирает потому только, что его слабое человеческое тело уже потеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения.

Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла из-за ширм, Коврин был уже мертв, и на лице его застыла блаженная улыбка.

1893  
Студент

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдино. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел все время залившимся лугом по тропинке. У него заоченели пальцы, и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю Страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, – все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.

– Вот вам и зима пришла назад, – сказал студент, подходя к костру. – Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.

– Не узнала, Бог с тобой, – сказала она. – Богатым быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

– Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, – сказал студент, протягивая к огню руки. – Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

– Небось, была на двенадцати Евангелиях?

– Была, – ответила Василиса.

– Если помнишь, во время Тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал Его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как Его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

– Пришли к первосвященнику, – продолжал он, – Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть ты и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю Его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые Он сказал ему на вечере... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, все, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему – к обоим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошрое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы – ему было только двадцать два года, – и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

1894

Убийство

I

На станции Прогонной служили всенощную. Перед большим образом, написанным ярко, на золотом фоне, стояла толпа станционных служащих, их жен и детей, а также дровосеков и пильщиков, работавших вблизи по линии. Все стояли в безмолвии, очарованные блеском огня и воем метели, которая ни с того ни с сего разыгралась на дворе, несмотря на канун Благовещения. Служил старик-священник из Веденяпина; пели псаломщик и Матвей Терехов.

Лицо Матвея сияло радостью, он пел и при этом вытягивал шею, как будто хотел взлететь. Пел он тенором, и канон читал тоже тенором, сладостно, убедительно. Когда пели «Архангельский глас», он помахивал рукой, как регент, и, стараясь подладиться под глухой стариковский бас дьячка, выводил своим тенором что-то необыкновенно сложное, и по лицу его было видно, что испытывал он большое удовольствие.

Но вот всеночная окончилась, все тихо разошлись, и стало опять темно и пусто, и наступила та самая тишина, какая бывает только на станциях, одиноко стоящих в поле или в лесу, когда ветер подвывает и ничего не слышно больше и когда чувствуется вся эта пустота кругом, вся тоска медленно текущей жизни.

Матвей жил недалеко от станции, в трактире своего двоюродного брата. Но ему не хотелось домой. Он сидел у буфетчика за прилавком и рассказывал вполголоса:

– У нас на изразцовом заводе был свой хор. И должен я вам заметить, хотя мы и простые мастера были, но пели мы по-настоящему, великолепно. Нас часто приглашали в город, и когда там викарный владыка Иоанн изволил служить в Троицкой церкви, то архиерейские певчие пели на правом клиросе, а мы на левом. Только в городе жаловались, что мы долго поем: заводские, говорили, тянут. Оно правда, мы «Андреево стояние» и «Похвалу» начинали в седьмом, а кончали после одиннадцати, так что, бывало, придешь домой на завод, а уже первый час. Хорошо было! – вздохнул Матвей. – Очень даже хорошо, Сергей Никанорыч! А здесь, в родительском доме, никакой радости. Самая ближняя церковь в пяти верстах, при моем слабом здоровье и не дойдешь туда, певчих нет. А в семействе нашем никакого спокойствия, день-деньской шум, брань, нечистота, все из одной чашки едим, как мужики, а щи с тараканами... Не дает Бог здоровья, а то бы я давно ушел, Сергей Никанорыч.

Матвей Терехов был еще не стар, лет сорока пяти, но выражение у него было болезненное, лицо в морщинах, и жидкая, прозрачная бородка совсем уже поседела, и это старило его на много лет. Говорил он слабым голосом, осторожно и, кашляя, брался за грудь, и в это время взгляд его становился беспокойным и тревожным, как у очень мнительных людей. Он никогда не говорил определенно, что у него болит, но любил длинно рассказывать, как однажды на заводе он поднял тяжелый ящик и надорвался и как от этого образовалась грызь, заставившая его бросить службу на изразцовом заводе и вернуться на родину. А что значит грызь, объяснить он не мог.

– Признаться, не люблю я брата, – продолжал он, наливая себе чаю. – Он мне старший, грех осуждать, и боюсь Господа Бога, но не могу утерпеть. Человек он надменный, суровый, ругательный, для своих родственников и работников мучитель, и на духу не бывает. В прошлое воскресенье я прошу его ласково: «Братец, поедемте в Пахомово к обедне!» А он: «Не поеду, – там, говорит, поп картежник». И сюда не пошел сегодня, потому, говорит, веденяпинский священник курит и водку пьет. Не любит духовенства! Сам себе и обедницу служит, и часы, и вечерню, а сестрица ему вместо дьячка. Он: «Господу помолимся!» А она тонким голосочком, как индюшка: «Господи помилуй!..» Грех, да и только. Каждый день ему говорю: «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!» – а он без внимания.

Сергей Никанорыч, буфетчик, налил пять стаканов чаю и понес их на подносе в дамскую. Едва он вошел туда, как послышался крик:

– Как ты подаешь, пороссячья морда? Ты не умеешь подавать!

Это был голос начальника станции. Послышалось робкое бормотанье, потом опять крик, сердитый и резкий:

– Пошел вон!

Буфетчик вернулся сильно сконфуженный.

– Было время, когда угождал и графам, и князьям, – проговорил он тихо, – а теперь, видите, не умею чай подать... Обругал при священнике и дамах!

Буфетчик Сергей Никанорыч когда-то имел большие деньги и держал буфет на первоклассной станции, в губернском городе, где перекрещивались две дороги. Тогда он носил фрак и золотые часы. Но дела у него шли плохо, он потратил все свои деньги на роскошную сервировку, обкрадывала его прислуга, и, запутавшись мало-помалу, он перешел на другую станцию, менее бойкую; здесь от него ушла жена и увезла с собой все серебро, и он перешел на третью станцию, похуже, где уже не полагалось горячих кушаний. Потом на четвертую. Часто меняя места и спускаясь все ниже и ниже, он, наконец, попал на Прогонную и здесь торговал только чаем, дешевой водкой и на закуску ставил крутые яйца и твердую колбасу, от которой пахло смолой и которую сам же он в насмешку называл музыкантской. У него была

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
лысына во все темя, голубые глаза навывате и густые, пушистые бакены, которые он часто расчесывал гребенкой, глядясь в маленькое зеркальце. Воспоминания о прошлом томили его постоянно, он никак не мог привыкнуть к музыкантской колбасе, к грубости начальника станции и к мужикам, которые торговались, а по его мнению, торговаться в буфете было так же неприлично, как в аптеке. Ему было стыдно своей бедности и своего унижения, и этот стыд был теперь главным содержанием его жизни.

– А весна в этом году поздняя, – сказал Матвей, прислушиваясь. – Оно и лучше, я не люблю весны. Весной грязно очень, Сергей Никанорыч. В книжках пишут: весна, птицы поют, солнце заходит, а что тут приятного? Птица и есть птица, и больше ничего. Я люблю хорошее общество, чтоб людей послушать, об леригии поговорить или хором спеть что-нибудь приятное, а эти там соловьи да цветочки – Бог с ними!

Он опять начал об изразцовом заводе, о хоре, но оскорбленный Сергей Никанорыч никак не мог успокоиться и все пожимал плечами и бормотал что-то. Матвей простился и пошел домой.

Мороза не было, и уже таяло на крышах, но шел крупный снег; он быстро кружился в воздухе, и белые облака его гонялись друг за другом по полотну дороги. А дубовый лес, по обе стороны линии, едва освещенный луной, которая пряталась где-то высоко за облаками, издавал суровый, протяжный шум. Когда сильная буря качает деревья, то как они страшны! Матвей шел по шоссе вдоль линии, пряча лицо и руки, и ветер толкал его в спину. Вдруг показалась небольшая лошаденка, облепленная снегом, сани скребли по голым камням шоссе, и мужик с окутанною головой, тоже весь белый, хлестал кнутом. Матвей оглянулся, но уже не было ни саней, ни мужика, как будто все это ему только примерещилось, и он ускорил шаги, вдруг испугавшись, сам не зная чего.

Вот переезд и темный домик, где живет сторож. Шлагбаум поднят, и около намело целые горы, и, как ведьмы на шабаше, кружатся облака снега. Тут линию пересекает старая, когда-то большая дорога, которую до сих пор еще зовут трактом. Направо, недалеко от переезда, у самой дороги, стоит трактир Терехова, бывший постоялый двор. Тут по ночам всегда брезжит огонек.

Когда Матвей пришел домой, во всех комнатах и даже в сенях сильно пахло ладаном. Брат его Яков Иваныч еще продолжал служить всенощную. В молельной, где это происходило, в переднем углу стоял киот со старинными дедовскими образами в позолоченных ризах, и обе стены направо и налево были уставлены образами старого и нового письма, в киотах и просто так. На столе, покрытом до земли скатертью, стоял образ Благовещения и тут же кипарисовый крест и кадильница; горели восковые свечи. Возле стола был аналой. Проходя мимо молельной, Матвей остановился и заглянул в дверь. Яков Иваныч в это время читал у аналая; с ним молилась сестра его Аглая, высокая, худощавая старуха в синем платье и белом платочке. Была тут и дочь Якова Иваныча, Дашутка, девушка лет восемнадцати, некрасивая, вся в веснушках, по обыкновению босая и в том же платье, в каком под вечер поила скотину.

– Слава Тебе, показавшему нам свет! – провозгласил Яков Иваныч нараспев и низко поклонился.

Аглая подперла рукой подбородок и запела тонким, визгливым, тягучим голосом. А вверху над потолком тоже раздавались какие-то неясные голоса, которые будто угрожали или предвещали дурное. Во втором этаже после пожара, бывшего когда-то очень давно, никто не жил, окна были забыты тесом и на полу между балок валялись пустые бутылки. Теперь там стучал и гудел ветер и казалось, что кто-то бегал, спотыкаясь о балки.

Половина нижнего этажа была занята под трактир, в другой помещалась семья Терехова, так что когда в трактире шумели пьяные проезжие, то было слышно в комнатах все до одного слова. Матвей жил рядом с кухней, в комнате с большою печью, где прежде, когда тут был постоялый двор, каждый день пекли хлеб. В этой же комнате, за печкой, помещалась и Дашутка, у которой не было своей комнаты. Всегда тут по ночам кричал сверчок и суетились мыши.

Матвей зажег свечу и стал читать книгу, взятую им у станционного жандарма. Пока он сидел над ней, моление кончилось и все легли спать. Дашутка тоже легла. Она захрапела тотчас же, но скоро проснулась и сказала, зевая:

– Ты, дядя Матвей, зря бы свечку не жег.

– Это моя свечка, – ответил Матвей. – Я ее за свои деньги купил.

Дашутка поворочалась немного и опять заснула. Матвей сидел еще долго – ему не хотелось спать – и, кончив последнюю страницу, достал из сундука карандаш и написал на книге: «Сию книгу читал я, Матвей Терехов, и нахожу ее из всех читанных мною книг самою лутшею, в чем и приношу мою признательность унтер-офицеру жандармского управления железных дорог Кузьме Николаеву Жукову, как владельцу оной бесценной книги». Делать подобные надписи на чужих книгах он считал долгом вежливости.

## II

В самый день Благовещения, после того, как проводили почтовый поезд, Матвей сидел в буфете, пил чай с лимоном и говорил.

Слушали его буфетчик и жандарм Жуков.

– Я, надо вам заметить, – рассказывал Матвей, – еще в малолетстве был привержен к леригии. Мне только двенадцать годочков было, а я уже в церкви Апостола читал, и родители мои весьма утешались, и каждое лето мы с покойной маменькой ходили на богомолье. Бывало, другие ребята песни поют или раков ловят, а я в это время с маменькой. Старшие меня одобряли, да и мне самому было это приятно, что я такого хорошего поведения. И как маменька благословили меня на завод, то я между делом пел там тенором в нашем хоре, и не было лучшего удовольствия. Само собой, водки я не пил, табаку не курил, соблюдал чистоту телесную, а такое направление жизни, известно, не нравится врагу рода человеческого, и захотел он, окаянный, погубить меня и стал омрачать мой разум, все равно как теперь у братца. Самое первое, дал я обет не кушать по понедельникам скоромного и не кушать мяса во все дни, и вообще с течением времени нашла на меня фантазия. В первую неделю Великого поста до субботы святые отцы положили сухоядение, но трудящим и слабым не грех даже чайку попить, у меня же до самого воскресенья ни крошки во рту не было, и потом во весь пост я не разрешал себе масла ни отнюдь, а в среды и пятницы так и вовсе ничего не кушал. То же и в малые посты. Бывало, в Петровки наши заводские хлебают щи из судака, а я в стороночке от них сухарик сосу. У людей сила разная, конечно, но я об себе скажу: в постные дни мне не трудно было и так даже, что чем больше усердия, тем легче. Хочется кушать только в первые дни поста, а потом привыкаешь, становится все легче и, гляди, в конце недели совсем ничего и в ногах этакое онемение, будто ты не на земле, а на облаке. И, кроме того, налагал я на себя всякие послушания: вставал по ночам и поклоны бил, камни тяжелые таскал с места на место, на снег выходил босиком, ну и вериги тоже. Только вот по прошествии времени исповедаюсь я однажды у священника и вдруг такое мечтание: ведь священник этот, думаю, женатый, скоромник и табачник; как же он может меня исповедать и какую он имеет власть отпускать мне грехи, ежели он грешнее, чем я? Я даже постного масла остерегаюсь, а он небось осетрину ел. Пошел я к другому священнику, а этот, как на грех, толстомясый, в шелковой рясе, шуршит, будто дама, и от него тоже табаком пахнет. Пошел я говеть в монастырь, и там мое сердце не спокойно, все кажется, будто монахи не по уставу живут. И после этого никак я не могу найти службу по себе: в одном месте служат очень скоро, в другом, гляди, задостойник не тот пропели, в третьем дьячок гугнивый... Бывало, Господи, прости меня, грешного, стою, это, в церкви, а от гнева сердце трясется. Какая уж тут молитва? И представляется мне, будто народ в церкви не так крестится, не так слушает; на кого ни погляжу, все пьяницы, скоромники, табачники, блудники, картежники, один только я живу по заповедям. Лукавый бес не дремал, дальше – больше, перестал я петь в хоре и уж вовсе не хожу в церковь; так уж я об себе понимаю, будто я человек праведный, а церковь по своему несовершенству для меня не подходит, то есть, подобно падшему ангелу, возмечтал я в гордыне своей до невероятия. После этого стал я хлопотать, как бы свою церковь устроить. Нанял я у глухой мещанки комнатушечку далеко за городом, около кладбища, и устроил молельную, вот как у братца, но только у меня еще ставники были и настоящее кадило. В этой своей молельной я держался устава Святой Афонской Горы, то есть каждый день обязательно утренняя у меня начиналась в полночь, а под особо чтимые двенадцатые праздники всенощная у меня служилась часов десять, а когда и двенадцать. Монахи все-таки, по уставу, во время кафизм и паремий сидят, а я желал быть угоднее монахов и все, бывало, на ногах. Читал я и пел протяжно, со слезами и со въздыханием, воздевая руки, и прямо с молитвы, не спавши, на работу, да и работаю все с молитвой.

Ну, пошло по городу: Матвей святой, Матвей больных и безумных исцеляет. Никого я, конечно, не исцелял, но известно, как только заведется какой раскол и лжеучение, то от женского пола отбоя нет. Все равно как мухи на мед. Повадились ко мне разные бабки и старые девки, в ноги мне кланяются, руки целуют и кричат, что я святой и прочее, а одна даже на моей голове сияние видела. Стало тесно в молельной, взял я комнату побольше, и пошло у нас настоящее столпотворение, бес забрал меня окончательно и заслони́л свет от очей моих своими погаными копытами. Мы все вроде как бы взбесились. Я читал, а бабки и старые девки пели, и этак, долго не евши и не пивши, простоявши на ногах сутки или дольше, вдруг начинается с ними трясение, будто их лихорадка бьет, потом, этого, то одна крикнет, то другая – и этак страшно! Я тоже трясусь весь, как жид на сковородке, сам не знаю, по какой такой причине, и начинают наши ноги прыгать. Чудно, право: не хочешь, а прыгаешь и руками болтаешь; и потом, этого, крик, визг, все пляшем и друг за дружкой бегаем, бегаем до упаду. И таким образом, в диком беспамятстве впал я в блуд.

Жандарм засмеялся, но, заметив, что никто больше не смеется, стал серьезен и сказал:

– Это молоканство. Я читал, на Кавказе все так.

– Но не убило меня громом, – продолжал Матвей, перекрестясь на образ и пошевелив губа ми. – Должно, молилась за меня на том свете покойница маменька. Когда уже меня все в городе святым почитали и даже дамы и хорошие господа стали приезжать ко мне потихоньку за утешением, как-то пошел я к нашему хозяину Осипу Варламычу прощаться – тогда Прощеный день был, – а он этак запер на крючочек дверь и остались мы вдвоем, с глазу на глаз. И стал он меня отчитывать. А должен я вам заметить, Осип Варламыч без образования, но дальнего ума человек, и все его почитали и боялись, потому был строгий, богоугодной жизни и труженик. Городским головой был и старостой лет, может, двадцать и много добра сделал; Ново-Московскую улицу всю покрыл гравелием, выкрасил собор и колонны расписал под малафтит. Ну, запер дверь и – «давно, говорит, я до тебя добираюсь, такой-сякой... Ты, говорит, думаешь, что ты святой? Нет, ты не святой, а богоотступник, еретик и злодей!..» И пошел, и пошел... Не могу я вам выразить, как это он говорил, складненько да умненько, словно по-писаному, и так трогательно. Говорил часа два. Пронял он меня своими словами, открылись мои глаза. Слушал я, слушал и – как зарыдаю! «Будь, говорит, обыкновенным человеком, ешь, пей, одевайся и молись, как все, а что сверх обыкновения, то от беса. Вериги, говорит, твои от беса, посты твои от беса, молельная твоя от беса; все, говорит, это гордость». На другой день, в Чистый понедельник, привел меня Бог заболеть. Я надорвался, отвезли меня в больницу; мучился я до чрезвычайности и горько плакал и трепетал. Думал, что из больницы мне прямая дорога – в ад, и чуть не помер. Промучился я на одре болезни с полгода, а как выписался, то первым делом отговелся по-настоящему и стал опять человеком. Отпускал меня Осип Варламыч домой и наставлял: «Помни же, Матвей, что́ сверх обыкновения, то от беса». И я теперь ем и пью, как все, и молюсь, как все.. Ежели теперь, случается, от батюшки пахнет табаком или винцом, то я не дерзаю осуждать, потому ведь и батюшка обыкновенный человек. Но как только говорят, что вот в городе или в деревне завелся, мол, святой, по неделям не ест и свои уставы заводит, то уж я понимаю, чьи тут дела. Так вот, судари мои, какая была история в моей жизни. Теперь и я, как Осип Варламыч, все наставляю братца и сестрицу и укоряю их, но выходит глас вопиющего в пустыне. Не дал мне Бог дара.

Рассказ Матвея, по-видимому, не произвел никакого впечатления. Сергей Никанорыч ничего не сказал и стал убирать с прилавка закуску, а жандарм заговорил о том, как богат брат Матвея, Яков Иваныч.

– У него тысяч тридцать, по крайней мере, – сказал он.

Жандарм Жуков, рыжий, полнолицый (когда он ходил, у него дрожали щеки), здоровый, сытый, обыкновенно, когда не было старших, сидел развалиясь и положив ногу на ногу; разговаривая, он покачивался и небрежно посвистывал, и в это время на лице его было самодовольное, сытое выражение, как будто он только что пообедал. Деньги у него водились, и он всегда говорил о них с видом большого знатока. Он занимался комиссионерством, и когда нужно было кому-нибудь продать имение, лошадь или подержанный экипаж, то обращались к нему.

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Да, тридцать тысяч будет, пожалуй, – согласился Сергей Никанорыч. – У вашего дедушки было огромное состояние, – сказал он, обращаясь к Матвею. – Огромное! Все потом осталось вашему отцу и вашему дяде. Ваш отец помер в молодых годах, и после него все забрал дядя, а потом, значит, Яков Иваныч. Пока вы с маменькой на богомолье ходили и на заводе тенором пели, тут без вас не зевали.

– На вашу долю приходится тысяч пятнадцать, – сказал жандарм, покачиваясь. – Трактир у вас общий, значит, и капитал общий. Да. На вашем месте я давно бы подал в суд. Я бы в суд подал, само собой, а пока дело, один на один всю бы рожу ему до крови... Якова Иваныча не любили, потому что когда кто-нибудь верует не так, как все, то это неприятно волнует даже людей равнодушных к вере. Жандарм же не любил его еще и за то, что он тоже продавал лошадей и подержанные экипажи.

– Вам неохота судиться с братом, потому что у вас своих денег много, – сказал буфетчик Матвею, глядя на него с завистью. – Хорошо тому, у кого есть средства, а вот я, должно быть, так и умру в этом положении...

Матвей стал уверять, что у него вовсе нет денег, но Сергей Никанорыч уже не слушал; воспоминания о прошлом, об оскорблениях, которые он терпел каждый день, нахлынули на него; лысая голова его вспотела, он покраснел и замигал глазами.

– Жизнь проклятая! – сказал он с досадой и ударил колбасой о пол.

### III

Рассказывали, что постоялый двор был построен еще при Александре I какою-то вдовой, которая поселилась здесь со своим сыном; называлась она Авдотьей Тереховой. У тех, кто, бывало, проезжал мимо на почтовых, особенно в лунные ночи, темный двор с навесом и постоянно запертые ворота своим видом вызывали чувство скуки и безотчетной тревоги, как будто в этом дворе жили колдуны или разбойники; и всякий раз, уже проехав мимо, ямщик оглядывался и подгонял лошадей. Останавливались здесь неохотно, так как хозяева всегда были неласковы и брали с проезжих очень дорого. Во дворе было грязно даже летом; здесь в грязи лежали громадные, жирные свиньи и бродили без привязи лошади, которыми барышничали Тереховы, и случалось часто, что лошади, соскучившись, выбегали со двора и, как бешеные, носились по дороге, пугая странниц. В то время здесь было большое движение; проходили длинные обозы с товарами, и бывали тут разные случаи, вроде того, например, как лет тридцать назад обозчики, рассердившись, затеяли драку и убили проезжего купца, и в полуверсте от двора до сих пор еще стоит погнувшийся крест; проезжали почтовые тройки со звонками и тяжелые барские дормезы, с ревом и в облаках пыли проходили гурты рогатого скота.

Когда провели железную дорогу, то в первое время на этом месте был только полустанок, который назывался просто разъездом, потом же лет через десять построили теперешнюю Прогонную. Движение по старой почтовой дороге почти прекратилось, и по ней уже ездили только местные помещики и мужики, да весной и осенью проходили толпами рабочие. Постоялый двор превратился в трактир; верхний этаж обгорел, крыша стала желтой от ржавчины, навес мало-помалу обвалился, но на дворе в грязи все еще валялись громадные, жирные свиньи, розовые, отвратительные. По-прежнему иногда со двора выбегали лошади и бешено, задрав хвосты, носились по дороге. В трактире торговали чаем, сеном, мукой, а также водкой и пивом, распивочно и на вынос; спиртные напитки продавали с опаской, так как патента никогда не брали.

Тереховы вообще всегда отличались религиозностью, так что им даже дали прозвище – Богомолы. Но, быть может, оттого, что они жили особняком, как медведи, избегали людей и до всего доходили своим умом, они были склонны к мечтаниям и к колебаниям в вере, и почти каждое поколение веровало как-нибудь особенно. Бабка Авдотья, которая построила постоялый двор, была старой веры, ее же сын и оба внука (отцы Матвея и Якова) ходили в православную церковь, принимали у себя духовенство и новым образом молились с таким же благоговением, как старым; сын в старости не ел мяса и наложил на себя подвиг молчания, считая грехом всякий разговор, а у внуков была та особенность, что они понимали Писание не просто, а всё искали в нем скрытого смысла, уверяя, что в каждом святом слове должна содержаться какая-нибудь тайна. Правнук Авдотьи, Матвей, с самого детства боролся с мечтаниями и едва не погиб, другой правнук, Яков Иваныч, был православным, но после смерти жены вдруг перестал ходить в церковь и молился дома. На него глядя, совратилась и сестра Аглая: сама не ходила в церковь и

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
Дашутку не пускала. Про Аглаю еще рассказывали, будто в молодых годах она хаживала в Веденяпино к хлыстам и что втайне она еще продолжает быть хлыстовкой, а потому-де ходит в белом платочке.

Яков Иваныч был старше Матвея на десять лет. Это был очень красивый старик, высокого роста, с широкою седою бородой, почти до пояса, и с густыми бровями, придававшими его лицу суровое, даже злое выражение. Носил он длинную поддевку из хорошего сукна или черный романовский полушубок и вообще старался одеваться чисто и прилично; калоши носил даже в сухую погоду. В церковь он не ходил потому, что, по его мнению, в церкви не точно исполняли устав, и потому, что священники пили вино в непоказанное время и курили табак. Дома у себя он каждый день читал и пел вместе с Аглаей. В Веденяпине в заутрени вовсе не читали канона и вечерни не служили даже в большие праздники, он же у себя дома прочитывал все, что полагалось на каждый день, не пропуская ни одной строки и не торопясь, а в свободное время читал вслух жития. И в обыденной жизни он строго держался устава; так, если в Великом посту в какой-нибудь день разрешалось, по уставу, вино «ради труда бденного», то он непременно пил вино, даже если не хотелось.

Он читал, пел, кадил и постился не для того, чтобы получить от Бога какие-либо блага, а для порядка. Человек не может жить без веры, и вера должна выражаться правильно, из года в год, изо дня в день в известном порядке, чтобы каждое утро и каждый вечер человек обращался к Богу именно с теми словами и мыслями, какие приличны данному дню и часу. Нужно жить, а значит, и молиться так, как угодно Богу, и поэтому каждый день следует читать и петь только то, что угодно Богу, то есть что полагается по уставу; так, первую главу от Иоанна нужно читать только в день Пасхи, а от Пасхи до Вознесения нельзя петь «Достойно есть» и проч. Сознание этого порядка и его важности доставляло Якову Иванычу во время молитвы большое удовольствие. Когда ему по необходимости приходилось нарушать этот порядок, например уезжать в город за товаром или в банк, то его мучила совесть и он чувствовал себя несчастным.

Брат Матвей, приехавший неожиданно из завода и поселившийся в трактире, как дома, с первых же дней стал нарушать порядок. Он не хотел молиться вместе, ел и пил чай не вовремя, поздно вставал, в среды и пятницы пил молоко, будто бы по слабости здоровья; почти каждый день во время молитвы он входил в молельную и кричал: «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!» От этих слов Якова Иваныча бросало в жар, а Аглая, не выдержав, начинала браниться. Или ночью, подкравшись, Матвей входил в молельную и говорил тихо: «Братец, ваша молитва не угодна Богу. Потому что сказано: прежде смиришь с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой. Вы же деньги в рост даете, водочкой торгуете. Покайтесь!»

В словах Матвея Яков видел лишь обычную отговорку пустых и нерадивых людей, которые говорят о любви к ближнему, о примирении с братом и проч. для того только, чтобы не молиться, не постить и не читать святых книг, и которые презрительно отзываются о наживе и процентах только потому, что не любят работать. Ведь быть бедным, ничего не копить и ничего не беречь гораздо легче, чем быть богатым.

А все же он был взволнован и уже не мог молиться, как прежде. Едва он входил в молельную и раскрывал книгу, как уже начинал бояться, что вот-вот войдет брат и помешает ему; и в самом деле, Матвей появлялся скоро и кричал дрожащим голосом: «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!» Сестра бранилась, и Яков тоже выходил из себя и кричал:

«Пошел вон из моего дома!» А тот ему: «Этот дом наш общий».

Начинал Яков снова читать и петь, но уже не мог успокоиться и, сам того не замечая, вдруг задумывался над книгой; хотя слова брата считал он пустяками, но почему-то и ему в последнее время тоже стало приходиться на память, что богатому трудно войти в Царство Небесное, что в третьем году он купил очень выгодно краденую лошадь, что еще при покойнице жене однажды какой-то пьяница умер у него в трактире от водки...

По ночам он спал теперь нехорошо, чутко, и ему слышно было, как Матвей тоже не спал и все вздыхал, скучая по своему изразцовому заводу. И Якову ночью, пока он ворочался с боку на бок, вспоминались и краденая лошадь, и пьяница, и евангельские слова о верблюде.

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Похоже было на то, как будто у него опять начинались мечтания. А как нарочно, каждый день, несмотря на то, что уже был конец марта, шел снег и лес шумел по-зимнему, и не верилось, что весна настанет когда-нибудь. Погода располагала и к скуке, и к ссорам, и к ненависти, а ночью, когда ветер гудел над потолком, казалось, что кто-то жил там наверху, в пустом этаже, мечтания мало-помалу наваливали на ум, голова горела и не хотелось спать.

IV

Утром в Страстной понедельник Матвей слышал из своей комнаты, как Дашутка сказала Аглае:

– Дядя Матвей говорил надысь, поститься, говорил, не надо.

Матвей припомнил весь разговор, какой у него был накануне с Дашуткой, и ему вдруг стало обидно.

– Девушка, не грехи! – сказал он стонущим голосом, как больной. – Без постов нельзя, сам Господь наш постился сорок дней. А только я тебе объяснял, что худому человеку и пост не в пользу.

– А ты только послушай заводских, они научат добру, – проговорила насмешливо Аглая, моя пол (в будни она обыкновенно мыла полы и при этом сердилась на всех). – На заводе известно какой пост. Ты вот спроси его, дядю-то своего, спроси про душеньку, как он с ней, с гадюкой, в постные дни молоко трескал. Других-то он учит, а сам забыл про гадюку. А спроси: кому он деньги оставил, кому?

Матвей тщательно, как неопрытаную рану, скрывал ото всех, что в тот самый период своей жизни, когда во время молений с ним вместе прыгали и бегали старухи и девки, он вступил в связь с одной мещанкой и имел от нее ребенка. Уезжая домой, он отдал этой женщине все, что скопил на заводе, а для себя на проезд взял у хозяина, и теперь у него было всего несколько рублей, которые он тратил на чай и свечи. «Душенька» потом извещала его, что ребенок умер, и спрашивала в письме, как поступить с деньгами. Это письмо принес со станции работник, Аглая перехватила и прочла, и потом каждый день попрекала Матвея «душенькой».

– Шутка, девятьсот рублей! – продолжала Аглая. – Отдал девятьсот рублей чужой гадюке, заводской кобыле, чтоб ты лопнул! – Она уже разошлась и кричала визгливо: – Молчишь? Я б тебя разорвала, лядащий! Девятьсот рублей, как копеечка!

Ты бы под Дашутку подписал – своя, не чужая, – а то послал бы в Белев Марьиным сиротам несчастным. И не подавилась твоя гадюка, будь она трижды анафема проклята, дьяволица, чтоб ей светлого дня не дожидаться!

Яков Иваныч окликнул ее; было уже время начинать часы. Она умылась, надела белую косыночку и пошла в молельную к своему любимому брату уже тихая, скромная. Когда она говорила с Матвеем или в трактире подавала мужикам чай, то это была тощая, остроглазая, злая старуха, в молельной же лицо у нее было чистое, умиленное, сама она как-то вся молодела, манерно приседала и даже складывала сердечком губы.

Яков Иваныч начал читать часы тихо и заунывно, как он читал всегда в Великий пост. Почитав немного, он остановился, чтобы прислушаться к покою, какой был во всем доме, и потом продолжал опять читать, испытывая удовольствие; он молитвенно складывал руки, закатывал глаза, покачивал головой, вздыхал. Но вдруг послышались голоса. К Матвею пришли в гости жандарм и Сергей Никанорыч. Яков Иваныч стеснялся читать вслух и петь, когда в доме были посторонние, и теперь, услышав голоса, стал читать шепотом и медленно. В молельной было слышно, как буфетчик говорил:

– Татарин в Щепове сдает свое дело за полторы тысячи. Можно дать ему теперь пятьсот, а на остальные вексель. Так вот, Матвей Васильич, будьте столь благонадежны, одолжите мне эти пятьсот рублей. Я вам два процента в месяц.

– Какие у меня деньги! – изумился Матвей. – Какие у меня деньги!

– Два процента в месяц, это для вас как с неба, – объяснял жандарм. – А лежавши у вас, ваши деньги только моль ест, и больше никакого результата.

Потом гости ушли, и наступило молчание. Но едва Яков Иваныч начал опять читать вслух и петь, как из-за двери послышался голос:

– Братец, позвольте мне лошади в Веденяпино съездить!

Это был Матвей. И у Якова на душе стало опять непокойно.

– На чем же вы поедете? – спросил он, подумав. – На гнедом работник свинью повез, а на жеребчике я сам поеду в Шутейкино, вот как кончу.

– Братец, почему это вы можете распоряжаться лошадьми, а я нет? – спросил с раздражением Матвей.

– Потому что я не гулять, а по делу.

– Имущество у нас общее, значит, и лошади общие, и вы это должны понимать, братец.

Наступило молчание. Яков не молился и ждал, когда отойдет от двери Матвей.

– Братец, – говорил Матвей, – я человек больной, не хочу я имения, Бог с ним, владейте, но дайте хоть малую часть на пропитание в моей болезни. Дайте, и я уйду.

Яков молчал. Ему очень хотелось развязаться с Матвеем, но дать ему денег он не мог, так как все деньги были при деле; да и во всем роду Тереховых не было еще примера, чтобы братья делились; делиться – разориться.

Яков молчал и все ждал, когда уйдет Матвей, и все смотрел на сестру, боясь, как бы она не вмешалась и не началась бы опять брань, какая была утром. Когда, наконец, Матвей ушел, он продолжал читать, но уже удовольствия не было, от земных поклонов тяжелела голова и темнело в глазах, и было скучно слушать свой тихий, заунывный голос. Когда такой упадок духа бывал у него по ночам, то он объяснял его тем, что не было сна, днем же это его пугало и ему начинало казаться, что на голове и на плечах у него сидят бесы.

Кончив кое-как часы, недовольный и сердитый, он поехал в Шутейкино. Еще осенью землекопы рыли около Прогонной межевую канаву и прохарчили в трактире восемнадцать рублей, и теперь нужно было застать в Шутейкине их подрядчика и получить с него эти деньги. От тепла и метелей дорога испортилась, стала темною и ухабистою и местами уже проваливалась; снег по бокам осел ниже дороги, так что приходилось ехать как по узкой насыпи, и сворачивать при встречах было очень трудно. Небо хмурилось еще с утра, и дул сырой ветер...

Навстречу ехал длинный обоз: бабы везли кирпич. Яков должен был свернуть с дороги; лошадь его вошла в снег по брюхо, сани-одиночки накренились вправо, и сам он, чтобы не свалиться, согнулся влево и сидел так все время, пока мимо него медленно подвигался обоз; он слышал сквозь ветер, как скрипели сани и дышали тощие лошади и как бабы говорили про него: «Богомолов едет», – а одна, поглядев с жалостью на его лошадь, сказала быстро:

– Похоже, снег до Егория пролежит. Замучились!

Яков сидел неудобно, согнувшись, и щурил глаза от ветра, а перед ним все мелькали то лошади, то красный кирпич. И, быть может, оттого, что ему было неудобно и болел бок, вдруг ему стало досадно, и дело, по которому он теперь ехал, показалось ему неважным, и он сообразил, что можно было бы в Шутейкино послать завтра работника. Опять почему-то, как в прошлую бессонную ночь, он вспомнил слова про верблюда, и затем полезли в голову разные воспоминания то о мужике, который продавал краденую лошадь, то о пьянице, то о бабах, которые приносили ему в заклад самовары. Конечно, каждый купец старается взять больше, но Яков почувствовал утомление оттого, что он торговец, ему захотелось уйти куда-нибудь подальше от этого порядка и стало скучно от мысли, что сегодня ему еще надо читать вечерню. Ветер бил ему прямо в лицо и шуршал в воротнике, и казалось, что это он нашептывал ему все эти мысли, принося их с широкого белого поля... Глядя на это поле, знакомое ему с детства, Яков вспоминал, что точно такая же тревога и те же мысли были у него в молодые годы, когда на него находили

Ему было жутко оставаться одному в поле, он повернул назад и тихо поехал за обозом, а бабы смеялись и говорили:

– Богомоллов вернулся.

Дома, по случаю поста, ничего не варили и не ставили самовара, и день поэтому казался очень длинным. Яков Иваныч давно уже убрал лошадь, отпустил муки на станцию и два раза принимался читать Псалтирь, а до вечера все еще было далеко. Аглая вымыла уже все полы и от нечего делать убирала у себя в сундуке, крышка которого изнутри была вся оклеена ярлыками с бутылок. Матвей, голодный и грустный, сидел и читал или же подходил к голландской печке и подолгу осматривал изразцы, которые напоминали ему завод. Дашутка спала, потом, проснувшись, пошла поить скотину. У нее, когда она доставала воду из колодца, оборвалась веревка и ведро упало в воду. Работник стал искать багор, чтобы вытащить ведро, а Дашутка ходила за ним по грязному снегу, босая, с красными, как у гусыни, ногами и повторяла: «Там глыбля!» Она хотела сказать, что в колодце глубже, чем может достать багор, но работник не понимал ее, и, очевидно, она надоела ему, так как он вдруг обернулся и выбранил ее нехорошими словами. Яков Иваныч, вышедший в это время на двор, слышал, как Дашутка ответила работнику скороговоркой длинной, отборною бранью, которой она могла научиться только в трактире у пьяных мужиков.

– Что ты, срамница? – крикнул он ей и даже испугался. – Какие это ты слова?

А она глядела на отца с недоумением, тупо, не понимая, почему нельзя произносить таких слов. Он хотел прочесть ей наставление, но она показалась ему такою дикою, темною, и в первый раз за все время, пока она была у него, он сообразил, что у нее нет никакой веры. И вся эта жизнь в лесу, в снегу, с пьяными мужиками, с бранью представилась ему такою же дикою и темной, как эта девушка, и, вместо того, чтобы читать ей наставление, он только махнул рукой и вернулся в комнату.

В это время опять пришли к Матвею жандарм и Сергей Никанорыч. Яков Иваныч вспомнил, что у этих людей тоже нет никакой веры и что это их нисколько не беспокоит, и жизнь стала казаться ему странною, безумною и беспросветною, как у собаки; он без шапки прошелся по двору, потом вышел на дорогу и ходил сжав кулаки, – в это время пошел снег хлопьями, – борода у него развевалась по ветру, он все встряхивал головой, так как что-то давило ему голову и плечи, будто сидели на них бесы, и ему казалось, что это ходит не он, а какой-то зверь, громадный, страшный зверь, и что если он закричит, то голос его пронесется ревом по всему полю и лесу и испугает всех...

У

Когда он вернулся в дом, жандарма уже не было, а буфетчик сидел в комнате Матвея и считал что-то на счетах. Он и раньше часто, почти каждый день, бывал в трактире; прежде ходил к Якову Иванычу, а в последнее время к Матвею. Он все считал на счетах, и при этом лицо его напрягалось и потело, или просил денег, или, разглаживая бакены, рассказывал о том, как когда-то на первой классной станции он приготавливал для офицеров крюшон и на парадных обедах сам разливал стерляжью уху. На этом свете его ничто не интересовало, кроме буфетов, и умел он говорить только о кушаньях, сервировках, винах. Однажды, подавая чай молодой женщине, которая кормила грудью ребенка, и желая сказать ей что-нибудь приятное, он выразился так:

– Грудь матери – это буфет для младенца. Считаю на счетах в комнате Матвея, он просил денег, говорил, что на Прогонной ему уже нельзя жить, и несколько раз повторил таким тоном, как будто собирался заплакать:

– Куда же я пойду? Куда я теперь пойду, скажите на милость?

Потом Матвей пришел в кухню и стал чистить вареный картофель, который он припрятал, вероятно, со вчерашнего дня. Было тихо, и Якову Иванычу показалось, что буфетчик ушел. Давно уже была пора начинать вечерню; он позвал Аглаю и, думая, что в доме нет никого, запел без стеснения, громко. Он пел и читал, но мысленно произносил другие слова: «Господи, прости! Господи, спаси!» – и один за другим, не переставая, клал земные поклоны, точно желая утомить себя, и все встряхивал головой, так что Аглая смотрела на него с удивлением. Он боялся, что войдет Матвей, и был уверен, что он войдет, и чувствовал против него злобу,

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
которой не мог одолеть ни молитвой, ни частыми поклонами.

Матвей тихо-тихо отворил дверь и вошел в молельную.

– Грех, какой грех! – сказал он укоризненно и вздохнул. – Покайтесь! Опомнитесь, братец!

Яков Иваныч, сжав кулаки, не глядя на него, чтобы не ударить, быстро вышел из молельной. Так же, как давеча на дороге, чувствуя себя громадным, страшным зверем, он прошел через сени в серую, грязную, пропитанную туманом и дымом половину, где обыкновенно мужики пили чай, и тут долго ходил из угла в угол, тяжело ступая, так что звенела посуда на полках и шатались столы. Ему уже было ясно, что сам он недоволен своею верой и уже не может молиться по-прежнему. Надо было каяться, надо было опомниться, образумиться, жить и молиться как-нибудь иначе. Но как молиться? А может быть, все это только смущает бес и ничего этого не нужно?.. Как быть? Что делать? Кто может научить? Какая беспомощность! Он остановился и, взявшись за голову, стал думать, но то, что близко находился Матвей, мешало ему спокойно соображать. И он быстро пошел в комнаты.

Матвей сидел в кухне перед чашкой с картофелем и ел. Тут же около печи сидели друг против друга Аглая и Дашутка и мотали нитки. Между печью и столом, за которым сидел Матвей, была протянута гладильная доска; на ней стоял холодный утюг.

– Сестрица, – попросил Матвей, – позвольте мне маслица!

– Кто же в такой день масло ест? – спросила Аглая.

– Я, сестрица, не монах, а мирянин. А по слабости здоровья мне не то что масло, даже молоко можно.

– Да, у вас на заводе все можно.

Аглая достала с полки бутылку с постным маслом и поставила ее перед Матвеем, сердито стукнув, со злорадною улыбкой, очевидно, довольная, что он такой грешник.

– А я тебе говорю, ты не можешь есть масла! – крикнул Яков.

Аглая и Дашутка вздрогнули, а Матвей, точно не слышал, налил себе масла в чашку и продолжал есть.

– А я тебе говорю, ты не можешь есть масла! – крикнул Яков еще громче, покраснел весь и вдруг схватил чашку, поднял ее выше головы и изо всей силы ударил оземь, так что полетели черепки. – Не смей говорить! – крикнул он неистовым голосом, хотя Матвей не сказал ни слова. – Не смей! – повторил он и ударил кулаком по столу.

Матвей побледнел и встал.

– Братец! – сказал он, продолжая жевать. – Братец, опомнитесь!

– Вон из моего дома сию минуту! – крикнул Яков; ему были противны морщинистое лицо Матвея, и его голос, и крошки на усах, и то, что он жует. – Вон, тебе говорят!

– Братец, уймитесь! Вас обуяла гордость бесовская!

– Молчи! (Яков застучал ногами.) Уходи, дьявол!

– Вы, ежели желаете знать, – продолжал Матвей громко, тоже начиная сердиться, – вы богоотступник и еретик. Бесы окаянные заслонили от вас истинный свет, ваша молитва не угодна Богу. Покайтесь, пока не поздно! Смерть грешника люта! Покайтесь, братец!

Яков взял его за плечи и потащил из-за стола, а он еще больше побледнел и, испугавшись, смутившись, забормотал: «Что ж оно такое? Что ж оно такое?» – и, упираясь, делая усилия, чтобы высвободиться из рук Якова, нечаянно ухватился за

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

его рубаху около шеи и порвал воротник, а Аглае показалось, что это он хочет бить Якова, она вскрикнула, схватила бутылку с постным маслом и изо всей силы ударила ею ненавистного брата прямо по темени. Матвей пошатнулся, и лицо его в одно мгновение стало спокойным, равнодушным; Яков, тяжело дыша, возбужденный и испытывая удовольствие оттого, что бутылка, ударившись о голову, крикнула, как живая, не давал ему упасть и несколько раз (это он помнил очень хорошо) указал Аглае пальцем на утюг, и только когда полилась по его рукам кровь и послышался громкий плач Дашутки, и когда с шумом упала гладильная доска и на нее грузно повалился Матвей, Яков перестал чувствовать злобу и понял, что произошло.

– Пусть издыхает, заводский жеребец! – с отвращением проговорила Аглая, не выпуская из рук утюга; белый, забрызганный кровью платочек сполз у нее на плечи, и седые волосы распустились. – Туда ему и дорога!

Все было страшно. Дашутка сидела на полу около печки с нитками в руках, всхлипывала и все кланялась, произнося с каждым поклоном: «гам! гам!» Но ничто не было так страшно для Якова, как вареный картофель в крови, на который он боялся наступить, и было еще нечто страшное, что угнетало его, как тяжкий сон, и казалось самым опасным и чего он никак не мог понять в первую минуту. Это был буфетчик Сергей Никанорыч, который стоял на пороге со счетами в руках, очень бледный, и с ужасом смотрел на то, что происходило в кухне. Только когда он повернулся и быстро пошел в сени, а оттуда наружу, Яков понял, кто это, и пошел за ним.

Вытирая на ходу руки о снег, он думал. Промелькнула мысль о том, что работник отпросился ночевать к себе в деревню и ушел уже давно; вчера резали свинью, и громадные кровавые пятна были на снегу, на санях и даже одна сторона колодезного сруба была обрызгана кровью, так что если бы теперь вся семья Якова была в крови, то это не могло бы показаться подозрительным. Скрывать убийство было бы мучительно, но то, что явится со станции жандарм, который будет посвистывать и насмешливо улыбаться, придут мужики и крепко свяжут руки Якову и Аглае и с торжеством поведут их в волость, а оттуда в город, и дорогой все будут указывать на них и весело говорить: «Богомоловых ведут!» – это представлялось Якову мучительнее всего, и хотелось протянуть как-нибудь время, чтобы пережить этот срам не теперь, а когда-нибудь после.

– Я вам могу одолжить тысячу рублей... – сказал он, догнав Сергея Никанорыча. – Если вы кому скажете, то от этого никакой пользы... а человека все равно не воскресить, – и, едва поспевая за буфетчиком, который не оглядывался и старался идти все скорее, он продолжал: – И полторы тысячи могу дать...

Он остановился, потому что запыхался, а Сергей Никанорыч пошел дальше все так же быстро, вероятно, боясь, чтобы его также не убили. Только миновав переезд и пройдя половину шоссе, которое вело от переезда до станции, он мельком оглянулся и пошел тише. На станции и по линии уже горели огни, красные и зеленые; ветер утих, но снег все еще сыпался хлопьями и дорога опять побелела. Но вот почти около самой станции Сергей Никанорыч остановился, подумал минуту и решительно пошел назад. Становилось темно.

– Пожалуйте полторы тысячи, Яков Иваныч, – сказал он тихо, дрожа всем телом. – Я согласен.

VI

Деньги Якова Иваныча лежали в городском банке и были розданы под вторые закладные; дома у себя он держал немного, только то, что нужно было для оборота. Войдя в кухню, он нащупал жестянку со спичками и, пока синим огнем горела сера, успел разглядеть Матвея, который лежал по-прежнему на полу около стола, но уже был накрыт белой простыней, и были видны только его сапоги. Кричал сверчок. Аглаи и Дашутки не было в комнатах: обе они сидели в чайной за прилавком и молча мотали нитки. Яков Иваныч с лампочкой прошел к себе в комнату и вытащил из-под кровати сундучок, в котором держал расхожие деньги. В этот раз набралось всего четыреста двадцать одними мелкими бумажками и серебра на тридцать пять рублей; от бумажек шел нехороший, тяжелый дух. Забрав деньги в шапку, Яков Иваныч вышел на двор, потом за ворота. Он шел и глядел по сторонам, но буфетчика не было.

– Гоп! – крикнул Яков.

У самого переезда от шлагбаума отделилась темная фигура и нерешительно пошла к

нему.

– Что вы всё ходите и ходите? – проговорил Яков с досадой, узнав буфетчика. – Вот вам: тут немного не хватило до пятисот... Дома нет больше.

– Хорошо... Очень вам благодарен, – бормотал Сергей Никанорыч, хватая деньги с жадностью и запихивая их в карманы; он весь дрожал, и это было заметно, несмотря на потемки. – А вы, Яков Иванович, будьте покойны... К чему мне болтать? Мое дело такое, я был да ушел. Как говорится, знать ничего не знаю, ведать не ведаю... – и тут же добавил со вздохом: – Жизнь проклятая!

Минуту стояли молча, не глядя друг на друга.

– Так это у вас, из пустяков, Бог его знает как... – сказал буфетчик, дрожа. – Сижу я, считаю себе и вдруг шум... Гляжу в дверь, а вы из-за постного масла... Где он теперь?

– Лежит там в кухне.

– Вы бы его свезли куда... Что ждать?

Яков проводил его до станции молча, потом вернулся домой и запряг лошадь, чтобы везти Матвея в Лимарово. Он решил, что свезет его в Лимаровский лес и оставит там на дороге, а потом будет говорить всем, что Матвей ушел в Веденяпино и не возвращался, и все тогда подумают, что его убили прохожие. Он знал, что этим никого не обманешь, но двигаться, делать что-нибудь, хлопотать было не так мучительно, как сидеть и ждать. Он кликнул Дашутку и вместе с ней повез Матвея. А Аглая осталась убирать в кухне.

Когда Яков и Дашутка возвращались назад, их задержал у переезда опущенный шлагбаум. Шел длинный товарный поезд, который тащили два локомотива, тяжело дыша и выбрасывая из поддувал снопы багрового огня. На переезде в виду станции передний локомотив издал пронзительный свист.

– Свистить... – проговорила Дашутка. Поезд, наконец, прошел, и сторож не спеша поднял шлагбаум.

– Это ты, Яков Иванович? – сказал он. – Не узнал, богатым быть.

А потом, когда приехали домой, надо было спать. Аглая и Дашутка легли рядом, постлавши себе в чайной на полу, а Яков расположился на прилавке. Перед тем как ложиться, Богу не молились и лампад не зажигали. Все трое не спали до самого утра, но не промолвили ни одного слова, и казалось им всю ночь, что наверху в пустом этаже кто-то ходит.

Через два дня приехали из города становой пристав и следователь и сделали обыск сначала в комнате Матвея, потом во всем трактире. Допрашивали прежде всего Якова, и он показал, что Матвей в понедельник под вечер ушел в Веденяпино говеть и что, должно быть, дорогой его убили пильщики, работающие теперь по линии. А когда следователь спросил его, почему же так случилось, что Матвея нашли на дороге, а шапка его оказалась дома, – разве он пошел в Веденяпино без шапки? И почему около него на дороге на снегу не нашли ни одной капли крови, в то время как голова у него была проломлена и лицо и грудь были черны от крови, Яков смутился растерялся и ответил:

– Не могу знать.

И произошло именно то, чего так боялся Яков: приходил жандарм, урядник курил в молельной, и Аглая набросилась на него с бранью и нагрубила становому приставу, и, когда потом Якова и Аглаю вели со двора, у ворот толпились мужики и говорили: «Богомолова ведут!» – и казалось, все были рады.

Жандарм на допросе показал прямо, что Матвея убили Яков и Аглая, чтобы не делиться с ним, и что у Матвея были свои деньги, и если их не оказалось при обыске, то, очевидно, ими воспользовались Яков и Аглая. И Дашутку спрашивали. Она сказала, что дядя Матвей и тетка Аглая каждый день бранились и чуть не дрались из-за денег, а дядя был богатый, так как он даже какой-то своей душеньке подарил девятьсот рублей.

Дашутка осталась в трактире одна; никто уж не приходил пить чай и водку, и она то убирала в комнатах, то пила мед и ела баранки; но через несколько дней допрашивали сторожа на переезде, и он сказал, что в понедельник поздно вечером видел, как Яков ехал с Дашуткой из Лимарова. Дашутку тоже арестовали, повели в город и посадили в острог. Вскорости, со слов Аглаи, стало известно, что во время убийства присутствовал Сергей Никанорыч; у него сделали обыск и нашли деньги в необычном месте, в валенке под печкой, и деньги все были мелкие, одних рублевых бумажек было триста. Он божился, что эти деньги он наторговал и что в трактире он не был уже более года, а свидетели показали, что он был беден и в последнее время сильно нуждался в деньгах и ходил в трактир каждый день, чтобы взять у Матвея займы, и жандарм рассказал, как в день убийства сам он два раза ходил с буфетчиком в трактир, чтобы помочь ему сделать заем. Вспомнили кстати, что в понедельник вечером Сергей Никанорыч не выходил к товаро-пассажирскому поезду, а уходил куда-то. И его тоже арестовали и отправили в город.

Через одиннадцать месяцев был суд.

Яков Иваныч сильно постарел, похудел и говорил уже тихо, как больной. Он чувствовал себя слабым, жалким, ниже всех ростом, и было похоже на то, как будто от мучений совести и мечтаний, которые не покидали его и в тюрьме, душа его так же постарела и отошала, как тело. Когда зашла речь о том, что он не ходит в церковь, председатель спросил его:

– Вы раскольник?

– Не могу знать, – ответил он.

Он не имел уже никакой веры, ничего не знал и не понимал, а прежняя вера была ему теперь противна и казалась неразумной, темной. Аглая не смирилась нисколько и продолжала бранить покойного Матвея, обвиняя его во всех несчастиях. У Сергея Никанорыча на месте бакенов выросла борода; на суде он потел, краснел и, видимо, стыдился серого халата и того, что его посадили на одну скамью с простыми мужиками. Он неловко оправдывался и, желая доказать, что в трактире он не был целый год, вступал в спор с каждым свидетелем, и публика смеялась над ним. Дашутка, пока была в тюрьме, пополнела; на суде она не понимала вопросов, которые задавали ей, и сказала только, что когда дядю Матвея убивали, то она очень испугалась, а потом ничего.

Все четверо были признаны виновными в убийстве с корыстной целью. Яков Иваныч был приговорен к каторжным работам на двадцать лет, Аглая – на тринадцать с половиной, Сергей Никанорыч – на десять, Дашутка – на шесть.

## VII

На Дуэском рейде на Сахалине поздно вечером остановился иностранный пароход и потребовал угля. Просили командира подождать до утра, но он не пожелал ждать и одного часа, говоря, что если за ночь погода испортится, то он рискует уйти без угля. В Татарском проливе погода может резко измениться в какие-нибудь полчаса, и тогда сахалинские берега становятся опасны. А уже свежело и разводило порядочную волну.

Из Воеводской тюрьмы, самой неприглядной и суровой из всех сахалинских тюрем, погнали в рудник партию арестантов. Предстояло нагрывать углем баржи, затем тащить их на буксире парового катера к борту парохода, который стоял более чем в полуверсте от берега, и там должна была начаться перегрузка – мучительная работа, когда баржу бьет о пароход и рабочие едва держатся на ногах от морской болезни. Каторжные, только что поднятые с постелей, сонные, шли по берегу, спотыкаясь в потемках и звеня кандалами. Налево был едва виден высокий крутой берег, чрезвычайно мрачный, а направо была сплошная, беспросветная тьма, в которой стонало море, издавая протяжный, однообразный звук: «а... а... а... а...», и только когда надзиратель закуривал трубку и при этом мельком освещался конвойный с ружьем и два-три ближайших арестанта с грубыми лицами, или когда он подходил с фонарем близко к воде, то можно было разглядеть белые гребни передних волн.

В этой партии находился Яков Иваныч, прозванный на каторге Великом за свою длинную бороду. По имени и отчеству его давно уже никто не величал, а звали просто Яшкой. Был он здесь на плохом счету, так как месяца через три по прибытии на каторгу, чувствуя сильную, непобедимую тоску по родине, он поддался искушению

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
и бежал, а его скоро поймали, присудили к бессрочной каторге и дали ему сорок плетей; потом его еще два раза наказывали розгами за растрату казенного платья, хотя это платье в оба раза было у него украдено. Тоска по родине началась у него с тех самых пор, как его везли в Одессу и арестантский поезд остановился ночью на Прогонной, и Яков, припав к окну, старался увидеть родной двор и ничего не увидел впотьмах.

Не с кем было поговорить о родной стороне. Сестру Аглаю отправили на каторгу через Сибирь, и было неизвестно, где она теперь. Дашутка была на Сахалине, но ее отдали какому-то поселенцу в сожительницы, в дальнее селение; слухов о ней не было никаких, и раз только один поселенец, попавший в Воеводскую тюрьму, рассказывал Якову, будто Дашутка имела уже троих детей. Сергей Никанорыч служил лакеем у чиновника тут же недалеко, в Дуэ, но нельзя было рассчитывать повидаться с ним когда-нибудь, так как он стыдился знакомства с каторжными из простого звания.

Партия пришла в рудник и расположилась на пристани. Говорили, что нагрузки не будет, так как погода все портится и пароход будто бы собирается уходить. Видно было три огня. Один из них двигался: это паровой катер ходил к пароходу и теперь, кажется, уже возвращался, чтобы сообщить, будет работа или нет. Дрожа от осеннего холода и морской сырости, кутаясь в свой короткий, рванный полушубок, Яков Иванович пристально, не мигая, смотрел в ту сторону, где была родина. С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов, – с русскими, хохлами, татарами, грузинами, китайцами, чухной, цыганами, евреями, и с тех пор, как прислушался к их разговорам, нагледелся на их страдания, он опять стал возноситься к Богу, и ему казалось, что он, наконец, узнал настоящую веру, ту самую, которой так жаждал и так долго искал и не находил весь его род, начиная с бабки Авдотьи. Все уже он знал и понимал, где Бог и как должно Ему служить, но было непонятно только одно, почему жребий людей так различен, почему эта простая вера, которую другие получают от Бога даром вместе с жизнью, досталась ему так дорого, что от всех этих ужасов и страданий, которые, очевидно, будут без перерыва продолжаться до самой его смерти, у него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги? Он вглядывался напряженно в потемки, и ему казалось, что сквозь тысячи верст этой тьмы он видит родину, видит родную губернию, свой уезд, Прогонную, видит темноту, дикость, бессердечие и тупое, суровое, скотское равнодушие людей, которых он там покинул; зрение его туманилось от слез, но он все смотрел вдаль, где еле-еле светились бледные огни парохода, и сердце щемило от тоски по родине, и хотелось жить, вернуться домой, рассказать там про свою новую веру и спасти от гибели хотя бы одного человека и прожить без страданий хотя бы один день.

Катер пришел, и надзиратель объявил громко, что нагрузки не будет.

– Назад! – скомандовал он. – Смирно!

Было слышно, как на пароходе убирали якорную цепь. Дул уже сильный, пронзительный ветер, и где-то вверху на крутом берегу скрипели деревья. Вероятно, начинался шторм.

1895

Человек в футляре

На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия, расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин. У Ивана Ивановича была довольно странная, двойная фамилия – Чимша-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком.

Не спали. Иван Иванович, высокий, худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках.

Рассказывали разные истории. Между прочим говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и не глупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.

– Что же тут удивительного! – сказал Буркин. – Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете не мало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера, – кто знает? Я не естественник и не мое дело касаться подобных вопросов; я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление не редкое. Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

– О, как звучен, как прекрасен греческий язык! – говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищурив глаз и подняв палец, произносил: – Антропос! [16]

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определено; запрещено – и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо:

– Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло.

Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и все говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах, – ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло, – и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого – Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном, маленьком лице, – знаете, маленьком лице, как у хорька, – он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову балл по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова, и Егорова. Было у него странное обыкновение – ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит и как будто что-то высматривает. Посидит, этак, молча, час-другой и уйдет. Это называлось у него «поддерживать добрые отношения с товарищами», и, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам только потому, что считал своею товарищескою обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрина, однако же этот человек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город! Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять – пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бедным, учить грамоте...

Иван Иванович, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
на луну и потом уже сказал с расстановкой:

– Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели... То-то вот оно и есть.

– Беликов жил в том же доме, где и я, – продолжал Буркин, – в том же этаже, дверь против двери, мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и – ах, как бы чего не вышло! Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле, – пища не постная, но и нельзя сказать, чтобы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет шестидесяти, нетрезвого и полоумного, который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же, с глубоким вздохом:

– Много уж их нынче развелось!

Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело; слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие...

И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжело.

– Очень уж шумят у нас в классах, – говорил он, как бы стараясь отыскать объяснения своему тяжелому чувству. – Ни на что не похоже.

И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился.

Иван Иваныч быстро оглянулся в сарай и сказал:

– Шутите!

– Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленко, Михаила Саввича, из хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу... А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая, – одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, все поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальется голосистым смехом: ха-ха-ха! Первое основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены: ходит подбоченясь, хохочет, поет, пляшет... Она спела с чувством «Вьют витры», потом еще романс, и еще, и всех нас очаровала, – всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:

– Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий.

Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадячском уезде[17] у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки! У хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синенькими «такой вкусный, такой вкусный, что просто – ужас!»

Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль.

– А хорошо бы их поженить, – тихо сказала мне директорша.

Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе; быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить.

– Ему давно уже за сорок, а ей тридцать... – пояснила свою мысль директорша. – Мне кажется, она бы за него пошла.

Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу, и смотрим – в ее ложе сидит Варенька с этаким веером, сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена: идет Коваленко по улице, высокий, здоровый верзила, в вышитой сорочке, чуб из-под фуражки падает на лоб; в одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами.

– Да ты же, Михайлик, этого не читал! – спорит она громко. – Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе!

– А я тебе говорю, что читал! – кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару.

– Ах же, Боже ж мой, Минчик! Чего же ты сердисься, ведь у нас же разговор принципиальный.

– А я тебе говорю, что я читал! – кричит еще громче Коваленко.

А дома, как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила, хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание; тут уж перебирать некогда, выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность.

А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры», или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется:

– Ха-ха-ха!

В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все – и товарищи, и дамы – стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того-де, что брак есть шаг серьезный; к тому же Варенька была недурна собой, интересна, она была дочь статского советника и имела хутор, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно, – голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться.

– Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик, – проговорил Иван Иваныч.

– Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и все ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр.

– Варвара Саввишна мне нравится, – говорил он мне со слабой кривой улыбочкой, – и я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но... все это, знаете ли, произошло как-то вдруг... Надо подумать.

– Что же тут думать? – говорю ему. – Женитесь, вот и все.

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Нет, женитьба – шаг серьезный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность... чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь: у нее с братом какой-то странный образ мыслей, рассуждают они как-то, знаете ли, странно, и характер очень бойкий. Женишься, а потом, чего доброго, попадешь в какую-нибудь историю.

И он не делал предложения, все откладывал, к великой досаде директорши и всех наших дам; все взвешивал предстоящие обязанности и ответственность, и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может, думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни. И, по всей вероятности, в конце концов он сделал бы предложение и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи, если бы вдруг не произошел kolossalische Skandal. Нужно сказать, что брат Вареньки, Коваленко, возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.

– Не понимаю, – говорил он нам, пожимая плечами, – не понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чиновралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислотной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопне[18].

Или он хохотал, хохотал до слез, то басом, то тонким писклявым голосом, и спрашивал меня, разводя руками:

– Шо он у меня сидить? Шо ему надо? Сидить и смотреть.

Он даже название дал Беликову «глитай абож паук»[19]. И, понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за «абож паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал:

– Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться.

Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназий, учителя семинарии, чиновники – все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.

Выходим мы вместе из дому, – это было как раз первое мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу, – выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи.

– Какие есть нехорошие, злые люди! – проговорил он, и губы у него задрожали.

Мне даже жалко его стало. Идем, и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая, радостная.

– А мы, – кричит она, – вперед едем! Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!

И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня...

– Позвольте, что же это такое? – спросил он. – Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?

– Что же тут неприличного? – сказал я. – И пусть катаются себе на здоровье.

– Да как же можно? – крикнул он, изумляясь моему спокойствию. – Что вы

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
говорите?!

И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой.

На другой день он все время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. И с занятий ушел, что случилось с ним первый раз в жизни. И не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленкам. Вареньки не было дома, застал он только брата.

– Садитесь, покорнейше прошу, – проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови; лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.

Беликов посидел молча минут десять и начал:

– Я к вам пришел, чтоб облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем... Я не подавал никакого повода к такой насмешке, – напротив же, все время вел себя как вполне порядочный человек.

Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом:

– И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества.

– Почему же? – спросил Коваленко басом.

– Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это не понятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах! И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде – это ужасно!

– Что же, собственно, вам угодно?

– Мне угодно только одно – предостеречь вас, Михаил Саввич. Вы – человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же так манкируете, ох, как манкируете! Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами, а теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечителя... Что же хорошего?

– Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела! – сказал Коваленко и побагровел. – А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.

Беликов побледнел и встал.

– Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать, – сказал он. – И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям.

– А разве я говорил что дурное про властей? – спросил Коваленко, глядя на него со злобой. – Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов.

Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости.

– Можете говорить что вам угодно, – сказал он, выходя из передней на площадку лестницы. – Я должен только предупредить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и, чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора... в главных чертах. Я обязан это сделать.

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Доложить? Ступай, докладывай! Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул, и Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно; встал и потрогал себя за нос: целы ли очки? Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы; они стояли внизу и глядели – и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем; ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя, – ах, как бы чего не вышло! – нарисуют новую карикатуру, и кончится все это тем, что прикажут подать в отставку...

Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом:

– Ха-ха-ха!

И этим раскатистым, залихватным «ха-ха-ха» завершилось все: и сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал.

Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как-де с барином что-то делается. Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал; спросишь его, а он только да или нет – и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него водкой, как из кабака.

Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала! И как бы в честь его во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает.

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные постные физиономии; никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия, – чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли?

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человек в футляре осталось, сколько их еще будет!

– То-то вот оно и есть, – сказал Иван Иваныч и закурил трубку.

– Сколько их еще будет! – повторил Буркин. Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.

– Луна-то, луна! – сказал он, глядя вверх. Была уже полночь. Направо видно было все село, длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением и что зла уже нет на земле и все благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука.

– То – то вот оно и есть, – повторил Иван Иваныч. – А разве то, что мы живем в

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт – разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор – разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю.

– Нет, уж пора спать, – сказал Буркин. – До завтра!

Оба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались легкие шаги: туп, туп... Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдет немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп... Собаки заворчали.

– Это Мавра ходит, – сказал Буркин. Шаги затихли.

– Видеть и слышать, как лгут, – проговорил Иван Иванович, поворачиваясь на другой бок, – и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не смей открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, – нет, больше жить так невозможно!

– Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иванович, – сказал учитель. – Давайте спать.

И минут через десять Буркин уже спал. А Иван Иванович все ворочался с боку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.

1898

Крыжовник

Еще с раннего утра все небо обложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносицкого, справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иванович и Буркин были проникнуты любовью к этому полю и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна.

– В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия, – сказал Буркин, – вы собирались рассказать какую-то историю.

– Да, я хотел тогда рассказать про своего брата. Иван Иванович протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать, но как раз в это время пошел дождь. И минут через пять лил уже сильный дождь, обложной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иванович и Буркин остановились в раздумье; собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением.

– Нам нужно укрыться куда-нибудь, – сказал Буркин. – Пойдемте к Алёхину. Тут близко.

– Пойдемте.

Они свернули в сторону и шли все по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красные крыши амбаров; заблестела река, и открылся вид на широкий плес с мельницей и белою купальней. Это было Софьино, где жил Алёхин.

Мельница работала, заглушая шум дождя; плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понурив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неуютно, и вид у плеса был холодный, злой. Иван Иванович и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле, ноги отяжелели от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались к господским амбарам, то молчали, точно сердились друг на друга.

В одном из амбаров шумела веялка; дверь была открыта, и из нее валила пыль. На

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
пороге стоял сам Алёхин, мужчина лет сорока, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мытая рубаха с веревочным пояском, вместо брюк кальсоны, и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Иваныча и Буркина и, по-видимому, очень обрадовался.

– Пожалуйте, господа, в дом, – сказал он, улыбаясь. – Я сейчас, сию минуту.

Дом был большой, двухэтажный. Алёхин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики; тут была обстановка простая, и пахло ржаным хлебом, дешевой водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Ивана Иваныча и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга.

– Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа, – говорил Алёхин, входя за ними в переднюю. – Вот не ожидал! Пелагея, – обратился он к горничной, – дайте гостям переодеться во что-нибудь. Да кстати и я переодеюсь. Только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, с весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню, а тут пока приготовят.

Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алёхин с гостями пошел в купальню.

– Да, давно я уже не мылся, – говорил он, раздеваясь. – Купальня у меня, как видите, хорошая, отец еще строил, но мыться как-то все некогда.

Он сел на ступеньке и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой.

– Да, признаюсь... – проговорил Иван Иваныч значительно, глядя на его голову.

– Давно я уже не мылся... – повторил Алёхин конфузливо и еще раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как чернила.

Иван Иваныч вышел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл под дождем, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на волнах качались белые лилии; он доплыл до самой середины плеса и нырнул, и через минуту показался на другом месте и поплыл дальше, и все нырял, стараясь достать дна. «Ах, Боже мой... – повторял он, наслаждаясь. – Ах, Боже мой...» Доплыл до мельницы, о чем-то поговорил там с мужиками и повернул назад, и на середине плеса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алёхин уже оделись и собрались уходить, а он все плавал и нырял.

– Ах, Боже мой... – говорил он. – Ах, Господи помилуй.

– Будет вам! – крикнул ему Буркин. Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин и Иван Иваныч, одетые в шелковые халаты и теплые туфли, сидели в креслах, а сам Алёхин, умытый, причесанный, в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо, с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь, и когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иваныч приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не один только Буркин и Алёхин, но также старые и молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам.

– Нас два брата, – начал он, – я, Иван Иваныч, и другой – Николай Иваныч, года на два помоложе. Я пошел по ученой части, стал ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет сидел в казенной палате. Наш отец Чимша-Гималайский был из кантонистов[20], но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именишко. После его смерти именишко у нас оттягали за долги, но, как бы ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы, все равно как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыко, ловили рыбу, и прочее тому подобное... А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казенной палате. Годы проходили, а он все сидел на одном месте, писал все те же бумаги и думал все об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определенное

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
желание, в мечту купить себе маленькую усадьбу где-нибудь на берегу реки или озера.

Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе – это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа.

Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу; он любил читать и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продаются столько-то десятин пашни и луга с усадьбой, рекой, садом, мельницей, с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси в прудах и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника.

– Деревенская жизнь имеет свои удобства, – говорил он, бывало. – Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо и... и крыжовник растет.

Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же: а) барский дом, б) людская, с) огород, d) крыжовник. Жил он скупко: недоедал, недопивал, одевался Бог знает как, словно нищий, и все копил и клал в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь.

Годы шли, перевели его в другую губернию, минуло ему уже сорок лет, а он все читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. Все с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились деньжонки. Он и с ней тоже жил скупко, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни да года через три взяла и отдала Богу душу. И конечно, брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудачком. У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги и выигранные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив и ему отрезало ногу. Несем мы его в приемный покой, кровь льет – страшное дело, а он все просит, чтобы ногу его отыскали, и все беспокоится; в сапоге на отрезанной ноге двадцать рублей, как бы не пропали.

– Это вы уж из другой оперы, – сказал Буркин.

– После смерти жены, – продолжал Иван Иваныч, подумав полминуты, – брат мой стал высматривать себе имение. Конечно, хоть пять лет высматривай, но все же в конце концов ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал. Брат Николай через комиссионера, с переводом долга, купил сто двенадцать десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками; была река, но вода в ней цветом как кофе, потому что по одну сторону имения кирпичный завод, а по другую – костопальный. Но мой Николай Иваныч мало печалился; он выписал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком.

В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так: Чумбароклова Пустошь, Гималайское

тож. Приехал я в «Гималайское тож» после полудня. Было жарко. Везде канавы, заборы, изгороди, понасажены рядами елки, – и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед – того и гляди, хрюкнет в одеяло.

Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то были молоды, а теперь оба седые и умирать пора. Он оделся и повел меня показывать свое имение.

– Ну, как ты тут поживаешь? – спросил я.

– Да ничего, слава Богу, живу хорошо.

Это уж был не прежний робкий бедняга-чиновник, а настоящий помещик, барин. Он уж обжился тут, привык и вошел во вкус; кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не просто, а с важностью. А какие добрые дела? Лечил мужиков от всех болезней содой и касторкой и в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, а потом ставил полведра, думал, что так нужно. Ах, эти ужасные полведра!

Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставит им полведра, а они пьют и кричат ура, и пьяные кланяются ему в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иванович, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, и таким тоном, точно министр: «Образование необходимо, но для народа оно преждевременно», «телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы».

– Я знаю народ и умею с ним обращаться, – говорил он. – Меня народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает все, что захочу.

И все это, заметьте, говорилось с умной, доброю улыбкой. Он раз двадцать повторил: «мы, дворяне», «я, как дворянин»; очевидно, уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец – солдат. Даже наша фамилия Чимша-Гималайский, в сущности несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень приятной.

Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай Иванович засмеялся и минуту глядел на крыжовник, молча, со слезами, – он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, погладил на меня с торжеством ребенка, который наконец получил свою любимую игрушку, и сказал:

– Как вкусно!

И он с жадностью ел и все повторял:

– Ах, как вкусно! Ты попробуй!

Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, «тмы истин нам дороже нас возвышающий обман»[21]. Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своею судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне постлали постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягоде. Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников, но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Все тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания... И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда – болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, – и все обстоит благополучно.

– В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив, – продолжал Иван Иванович, вставая. – Я тоже за обедом и на охоте поучал, как жить, как верить, как управлять народом. Я тоже говорил, что ученье свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать? – спросил Иван Иванович, сердито глядя на Буркина. – Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких соображений?

Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!

Я уехал тогда от брата рано утром, и с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гоюсь для борьбы, я неспособен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досаую, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать... Ах, если б я был молод!

Иван Иванович прошелся в волнении из угла в угол и повторил:

– Если б я был молод!

Он вдруг подошел к Алёхину и стал пожимать ему то одну руку, то другую.

– Павел Константинович, – проговорил он умоляющим голосом, – не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет, и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!

И все это Иван Иванович проговорил с жалкой, просящей улыбкой, как будто просил лично для себя.

Потом все трое сидели в креслах, в разных концах гостиной, и молчали. Рассказ Ивана Ивановича не удовлетворил ни Буркина, ни Алёхина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу-чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где все: и люстра в чехле, и кресла, и ковры под ногами говорили, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам, и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, – это было лучше всяких рассказов.

Алехину сильно хотелось спать; он встал по хозяйству рано, в третьем часу утра, и теперь у него слипались глаза, но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что только что говорил Иван Иванович, он не вникал; гости говорили не о крупе, не о сене, не о дегте, а о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни, и он был рад и хотел, чтобы они продолжали...

– Однако пора спать, – сказал Буркин, поднимаясь. – Позвольте пожелать вам спокойной ночи.

Алехин простился и ушел к себе вниз, а гости остались наверху. Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями и в углу было распятие из слоновой кости; от их постелей, широких, прохладных, которые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем.

Иван Иванович молча разделся и лег.

– Господи, прости нас, грешных! – проговорил он и укрывшись с головой.

От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и все никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах.

Дождь стучал в окна всю ночь.

1898

Ионыч

I

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительной целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в рпсе-pez, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком – и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник – это было Вознесение, – после приема больных, Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и к стати купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было), и все время напевал:

Когда еще я не пил слез из чаши бытия...[22]

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.

– Здравствуйте пожалуйста, – сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. – Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, – продолжал он, представляя доктора жене, – я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

– Садитесь здесь, – говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. – Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.

– Ах ты, цыпка, баловница... – нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. – Вы очень кстати пожаловали, – обратился он опять к гостю, – моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.

– Жанчик, – сказала Вера Иосифовна мужу, – dites que l'on nous donne du thé [23].

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское, и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера мало-помалу сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

– Здравствуйте пожалуйста.

Потом все сидели в гостиной, с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал...» Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами, и доносился запах жареного лука... В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника, – читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли все такие хорошие, покойные мысли, – не хотелось вставать.

– Недурственно... – тихо проговорил Иван Петрович.

А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:

– Да... действительно...

Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.

– Вы печатаете свои произведения в журналах? – спросил у Веры Иосифовны Старцев.

– Нет, – отвечала она, – я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? – пояснила она. – Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.

– А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь, – сказал Иван Петрович дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело все: и пол, и потолок, и мебель... Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
шумные, надоедливые, но все же культурные звуки, – было так приятно, так ново...

– Ну, Котик, сегодня ты играла, как никогда, – сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала. – Умри, Денис, лучше не напишешь [24].

Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слышали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.

– Прекрасно! Прекрасно!

– Прекрасно! – сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению. – Вы где учились музыке? – спросил он у Екатерины Ивановны. – В консерватории?

– Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.

– Вы кончили курс в здешней гимназии?

– О нет! – ответила за нее Вера Иосифовна. – Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.

– А все-таки в консерваторию я поеду, – сказала Екатерина Ивановна.

– Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.

– Нет, поеду! Поеду! – сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризная, и топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их и все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчило вас благодарю...

Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженный, с полными щеками.

– А ну-ка, Пава, изобрази! – сказал ему Иван Петрович.

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

– Умри, несчастная! И все захохотали.

«Занятно», – подумал Старцев, выходя на улицу.

Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:

Твой голос для меня, и ласковый, и томный... [25]

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

«Недурственно...» – вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

## II

Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте...

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться все чаще. У Туркиных перебивали все городские врачи; дошла наконец очередь и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто... Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени...

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шепотом, сильно волнуясь:

– Ради Бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдите в сад!

Она пожала плечами, как бы недоумевая и не понимая, что ему нужно от нее, но встала и пошла.

– Вы по три, по четыре часа играете на рояле, – говорил он, идя за ней, – потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно, и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

– Я не видел вас целую неделю, – продолжал Старцев, – а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

– Что вам угодно? – спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.

– Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищалась его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все сие девушки, много читала (вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

– Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? – спросил он теперь. – Говорите, прошу вас.

– Я читала Писемского[26].

– Что именно?

– «Тысяча душ», – ответила Котик. – А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!

– Куда же вы? – ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому. – Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться... Побудьте со мной хоть пять минут! Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом, и там опять села за рояль.

«Сегодня, в одиннадцать часов вечера, – прочел Старцев, – будьте на кладбище возле памятника Деметти».

«Ну, уж это совсем не умно, – подумал он, придя в себя. – При чем тут кладбище? Для чего?»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому, в самом деле, придет серьезно в голову назначать свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком. «У всякого свои странности, – думал он. – Котик тоже странная и – кто знает? – быть может, она не шутит, придет», – и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота... При лунном свете на воротах можно было прочесть:

«Грядет час в онь же...»[27] Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллеи и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, – мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние...

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и, точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно, и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как, в сущности, нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным...

И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг все потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота – уже было темно, как в осеннюю ночь, – потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.

– Я устал, едва держусь на ногах, – сказал он Пантелеймону.

И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал:

«Ох, не надо бы полнеть!»

### III

На другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер.

Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запираательства и обвалилась застенчивость.

«А приданого они дадут, должно быть, немало», – думал Старцев, рассеянно слушая.

После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач...»

«Ну что ж? – думал он. – И пусть».

«К тому же, если ты женишься на ней, – продолжал кусочек, – то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе».

«Ну что ж? – думал он. – В городе так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку...»

Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.

Она стала прощаться, и он – оставаться тут ему было уже незачем – поднялся, говоря, что ему пора домой: ждут больные.

– Делать нечего, – сказал Иван Петрович, – поезжайте, кстати же подвезете Котика в клуб.

На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх.

– Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь, – говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску, – он идет, пока врет... Трогай! Прощайте пожалуйста!

Поехали.

– А я вчера был на кладбище, – начал Старцев. – Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны...

– Вы были на кладбище?

– Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал...

– И страдайте, если вы не понимаете шуток. Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.

– Довольно, – сказала она сухо.

И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городской около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:

– Чего стал, ворона? Проезжай дальше!

Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то все топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:

– О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична... Прошу, умоляю вас, – выговорил наконец Старцев, – будьте моей женой!

– Дмитрий Ионыч, – сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав. – Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но... – она встала и продолжала стоя, – но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой – о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех... – у нее слезы навернулись на глазах, – я сочувствую вам всей душой, но... но вы поймете...

И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной.

У Старцева перестало беспокоить сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно, и самолюбие его было оскорблено, – он не ожидал отказа, – и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона.

Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но, когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему.

Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:

– Сколько хлопот, однако!

#### IV

Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками, и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел, раздобыл и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнел, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходилась близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава Богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откусать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и все, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.

От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу, это – по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек – желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, – было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая все еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не случилось.

Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и кстати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. К.»

Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

– А, здравствуйте пожалуйста! – встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами. – Бонжурте.

Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:

– Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.

А котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде, и в манерах было что-то новое – несмелое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.

– Сколько лет, сколько зим! – сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце; и, пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она продолжала: – Как вы пополнили! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало изменились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже не доставало в ней, или что-то было лишнее, – он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад, – и ему стало неловко.

Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.

«Бездарен, – думал он, – не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

– Недурственно, – сказал Иван Петрович. Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.

«А хорошо, что я на ней не женился», – подумал Старцев.

Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад, но он молчал.

– Давайте же поговорим, – сказала она, подходя к нему. – Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти дни думала о вас, – продолжала она нервно, – я хотела послать вам письмо, хотела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но потом раздумала, – Бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради Бога, пойдите в сад. Они пошли в сад и сели

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
там на скамью под старым кленом, как четыре года назад. Было темно.

– Как же вы поживаете? – спросила Екатерина Ивановна.

– Ничего, живем понемножку, – ответил Старцев.

И ничего не мог больше придумать. Помолчали.

– Я волнуюсь, – сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо, – но вы не обращайтесь внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку, до утра.

Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил все, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.

– А помните, как я провожал вас на вечер в клуб? – сказал он. – Тогда шел дождь, было темно...

Огонек все разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь...

– Эх! – сказал он со вздохом. – Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь – сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей... Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?

– Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница. И конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье – быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! – повторила Екатерина Ивановна с увлечением. – Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным...

Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас.

Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.

– Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни, – продолжала она. – Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.

Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять:

«А хорошо, что я тогда не женился».

Он стал прощаться.

– Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина, – говорил Иван Петрович, провожая его. – Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази! – сказал он, обращаясь в передней к Паву.

Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, поднял вверх руку и сказал трагическим голосом:

– Умри, несчастная!

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
Все это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил все сразу – и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.

Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.

«Вы не едете к нам. Почему? – писала она. – Я боюсь, что Вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что все хорошо.

Мне необходимо поговорить с Вами. Ваша Е. Т.» Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:

– Скажи, любезный, что сегодня я не могу ехать, я очень занят. Приеду, скажи, так, дня через три.

Но прошло три дня, прошла неделя, а он все не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и... не заехал.

И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

У

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнил, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит встречным «Правда держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

– Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но все же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем. – «Куда это Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионыча?»

Вероятно оттого, что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим неприятным голосом:

– Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!

Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.

За все время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью, и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный, подают ему лафит № 17, и уже все – и старшины клуба, и повар, и лакей – знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой о пол.

Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор:

– Это вы про что? А? Кого?

И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он спрашивает:

– Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?

Вот и все, что можно сказать про него.

А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

– Прощайте пожалуйста!

1897–1898

На Святках

I

– Что писать? – спросил Егор и умокнул перо.

Василиса не виделась со своею дочерью уже четыре года. Дочь Ефимья после свадьбы уехала с мужем в Петербург, прислала два письма и потом как в воду канула; ни слуху ни духу. И доила ли старуха корову на рассвете, топила ли печку, дремала ли ночью – и все думала об одном: как-то там Ефимья, жива ли. Надо бы послать письмо, но старик писать не умел, а попросить было некого.

Но вот пришли Святки, и Василиса не вытерпела и пошла в трактир к Егору, хозяйкиному брату, который, как пришел со службы, так и сидел все дома, в трактире, и ничего не делал; про него говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему заплатит как следует. Василиса поговорила в трактире с кухаркой, потом с хозяйкой, потом с самим Егором. Сошлись на пятиалтынном.

И теперь – это происходило на второй день праздника в трактире, в кухне – Егор сидел за столом и держал перо в руке. Василиса стояла перед ним, задумавшись, с выражением заботы и скорби на лице. С нею пришел и Петр, ее старик, очень худой, высокий, с коричневой лысиной; он стоял и глядел неподвижно и прямо, как слепой. На плите в кастрюле жарилась свинина; она шипела и фыркала и как будто даже говорила: «Флю-флю-флю». Было душно.

– Что писать? – спросил опять Егор.

– Чего! – сказала Василиса, глядя на него сердито и подозрительно. – Не гони! Небось не задаром пишешь, за деньги! Ну, пиши. Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфичу и единственной нашей любимой дочери Ефимье Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимо.

– Есть. Стреляй дальше.

– А еще поздравляем с праздником Рождества Христова, мы живы и здоровы, чего и вам желаем от Господа... Царя Небесного.

Василиса подумала и переглянулась со стариком.

– Чего и вам желаем от Господа... Царя Небесного... – повторила она и заплакала.

Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, то ей казалось, что всего не поместить и в десяти письмах. С того времени, как уехали дочь с мужем, утекло в море много воды, старики жили как сироты, и тяжело вздыхали по ночам, точно похоронили дочь. А сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей! Какие были длинные зимы! Какие длинные ночи!

– Жарко! – проговорил Егор, расстегивая жилет. – Должно, градусов семьдесят будить. Что же еще? – спросил он.

Старики молчали.

– Чем твой зять там занимается? – спросил Егор.

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Он из солдат, батюшка, тебе известно, – ответил слабым голосом старик. – В одно время с тобой со службы пришел. Был солдат, а теперь, значит, в Петербурге в водоцелебном заведении. Доктор больных водой пользует. Так он, значит, у доктора в швейцарах.

– Вот тут написано... – сказала старуха, вынимая из платочка письмо. – От Ефимьи получили еще Бог знает когда. Может, их уж и на свете нет.

Егор подумал немного и стал быстро писать.

«В настоящее время, – писал он, – как судьба ваша через себе определила на Военное Попрыще, то мы Вам советуем заглянуть в Устав Дисциплинарных Взысканий и Уголовных Законов Военного Ведомства, и Вы усмотрите в оном Законе цивилизацию Чинов Военного Ведомства».

Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса соображала о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до Святков, пришлось продать корову. Надо бы попросить денег, надо бы написать, что старик часто похварывает и скоро, должно быть, отдаст Богу душу... Но как выразить это на словах? Что сказать прежде и что после?

«Обратите внимание, – продолжал Егор писать, – в 5 томе Военных Постановлений. Солдат есть Имя общее, Знаменитое. Солдатом называется Перьевейший Генерал и последней Рядовой...»

Старик пошевелил губами и сказал тихо:

– Внучат поглядеть, оно бы ничего.

– Каких внучат? – спросила старуха и поглядела на него сердито. – Да, может, их и нету!

– Внучат-то? А может, и есть. Кто их знает!

«И поэтому Вы можете судить, – торопился Егор, – какой есть враг Иноземный и какой Внутренний. Перьевейший наш Внутренний Враг есть: Бахус».

Перо скрипело, выделявая на бумаге завитушки, похожие на рыболовные крючки. Егор спешил и прочитывал каждую строчку по нескольку раз. Он сидел на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком. Это была сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, и Василиса хорошо понимала, что тут пошлость, но не могла выразить на словах, а только глядела на Егора сердито и подозрительно. От его голоса, непонятных слов, от жара и духоты у нее разболелась голова, запутались мысли, и она уже ничего не говорила, не думала и ждала только, когда он кончит скрипеть. А старик глядел с полным доверием. Он верил и старухе, которая его привела сюда, и Егору; и когда упомянул давеча о водоцелебном заведении, то видно было по лицу, что он верил и в заведение, и в целебную силу воды.

Кончив писать, Егор встал и прочел все письмо сначала. Старик не понял, но доверчиво закивал головой.

– Ничего, гладко... – сказал он, – дай Бог здоровья. Ничего...

Положили на стол три пятака и вышли из трактира; старик глядел неподвижно и прямо, как слепой, и на лице его было написано полное доверие, а Василиса, когда выходили из трактира, замахнулась на собаку и сказала сердито:

– У-у, язва!

Всю ночь старуха не спала, беспокоили ее мысли, а на рассвете она встала, помолилась и пошла на станцию, чтобы послать письмо.

До станции было одиннадцать верст.

II

Водолечебница доктора Б. О. Мозельвейзера работала и на Новый год так же, как в

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
обыкновенные дни, и только на швейцаре Андрее Хрисанфыче был мундир с новыми галунами, блестящие как-то особенно сапоги; и всех приходивших он поздравлял с Новым годом, с новым счастьем.

Было утро. Андрей Хрисанфыч стоял у двери и читал газету. Ровно в десять часов вошел генерал, знакомый, один из обычных посетителей, а вслед за ним – почтальон. Андрей Хрисанфыч снял с генерала шинель и сказал:

– С Новым годом, с новым счастьем, ваше превосходительство!

– Спасибо, любезный. И тебя также.

И, идя вверх по лестнице, генерал кивнул на дверь и спросил (он каждый день спрашивал и всякий раз потом забывал):

– А в этой комнате что?

– Кабинет для массажа, ваше превосходительство!

Когда шаги генерала затихли, Андрей Хрисанфыч осмотрел полученную почту и нашел одно письмо на свое имя. Он распечатал, прочел несколько строк, потом, не спеша, глядя в газету, пошел к себе в свою комнату, которая была тут же внизу, в конце коридора. Жена его Ефимья сидела на кровати и кормила ребенка; другой ребенок, самый старший, стоял возле, положив кудрявую голову ей на колени, третий спал на кровати.

Войдя в свою комнатку, Андрей подал жене письмо и сказал:

– Должно, из деревни.

Затем он вышел, не отрывая глаз от газеты, и остановился в коридоре, недалеко от своей двери. Ему было слышно, как Ефимья дрожащим голосом прочла первые строки. Прочла и уж больше не могла; для нее было довольно и этих строк, она залилась слезами и, обнимая своего старшенького, целуя его, стала говорить, и нельзя было понять, плачет она или смеется.

– Это от бабушки, от дедушки... – говорила она. – Из деревни... Царица Небесная, святители-угодники. Там теперь снегу навалило под крыши... деревья белые-белые. Ребятки на махоньких саночках... И дедушка лысенький на печке... и собачка желтенькая... Голубчики мои родные!

Андрей Хрисанфыч, слушая это, вспомнил, что раза три или четыре жена давала ему письма, просила послать в деревню, но мешали какие-то важные дела: он не послал, письма где-то завалялись.

– А в поле зайчики бегают, – причитывала Ефимья, обливаясь слезами, целуя своего мальчика. – Дедушка тихий, добрый, бабушка тоже добрая, жалосливая. В деревне душевно живут, Бога боятся... И церковочка в селе, мужички на клиросе поют. Унесла бы нас отсюда Царица Небесная, заступница-матушка!

Андрей Хрисанфыч вернулся к себе в комнатку, чтобы покурить, пока кто не пришел, и Ефимья вдруг замолчала, притихла и вытерла глаза, и только губы у нее дрожали. Она его очень боялась, ах, как боялась! Трепетала, приходила в ужас от его шагов, от его взгляда, не смела сказать при нем ни одного слова.

Андрей Хрисанфыч закурил, но как раз в это время наверху позвонили. Он потушил папиросу и, сделав очень серьезное лицо, побежал к своей парадной двери.

Сверху спускался генерал, розовый, свежий от ванны.

– А в этой комнате что? – спросил он, указывая на дверь.

Андрей Хрисанфыч вытянулся, руки по швам, и произнес громко:

– Душ Шарко[28], ваше превосходительство!

1899  
Архиерей

I

Под Вербное воскресенье в Старо-Петровском монастыре шла всенощная. Когда стали раздавать вербы, то был уже десятый час на исходе, огни потускнели, фитили нагорели, было все как в тумане. В церковных сумерках толпа колыхалась, как море, и преосвященному Петру, который был нездоров уже дня три, казалось, что все лица – и старые, и молодые, и мужские, и женские – походили одно на другое, у всех, кто подходил за вербой, одинаковое выражение глаз. В тумане не было видно дверей, толпа все двигалась, и похоже было, что ей нет и не будет конца. Пел женский хор, канон читала монашенка.

Как было душно, как жарко! Как долго шла всенощная! Преосвященный Петр устал. Дыхание у него было тяжелое, частое, сухое, плечи болели от усталости, ноги дрожали. И неприятно волновало, что на хорах изредка вскрикивал юродивый. А тут еще вдруг, точно во сне или в бреду, показалось преосвященному, будто в толпе подошла к нему его родная мать Мария Тимофеевна, которой он не видел уже девять лет, или старуха, похожая на мать, и, принявши от него вербу, отошла и все время глядела на него весело, с доброй, радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу. На душе было покойно, все было благополучно, но он неподвижно глядел на левый клирос, где читали, где в вечерней мгле уже нельзя было узнать ни одного человека, и – плакал. Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем. А немного погодя, минут через пять, монашеский хор пел, уже не плакали, все было по-прежнему.

Скоро и служба кончилась. Когда архиерей садился в карету, чтобы ехать домой, то по всему саду, освещенному луной, разливался веселый, красивый звон дорогих, тяжелых колоколов. Белые стены, белые кресты на могилах, белые березы и черные тени и далекая луна на небе, стоявшая как раз над монастырем, казалось, теперь жили своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку. Был апрель в начале, и после теплого весеннего дня стало прохладно, слегка подморозило, и в мягком холодном воздухе чувствовалось дыхание весны. Дорога от монастыря до города шла по песку, надо было ехать шагом; и по обе стороны кареты, в лунном свете, ярком и покойном, плелись по песку богомольцы. И все молчали, задумавшись, все было кругом приветливо, молодо, так близко, все – и деревья и небо, и даже луна, и хотелось думать, что так будет всегда.

Наконец карета въехала в город, покатила по главной улице. Лавки были уже заперты, и только у купца Еракина, миллионера, пробовали электрическое освещение, которое сильно мигало, и около толпился народ. Потом пошли широкие, темные улицы, одна за другою, безлюдные, земское шоссе за городом, поле, запахло сосной. И вдруг выросла перед глазами белая зубчатая стена, а за нею высокая колокольня, вся залитая светом, и рядом с ней пять больших, золотых, блестящих глав, – это Панкратиевский монастырь, в котором жил преосвященный Петр. И тут также высоко над монастырем тихая, задумчивая луна. Карета въехала в ворота, скрипя по песку, кое-где в лунном свете замелькали черные монашеские фигуры, слышались шаги по каменным плитам..

– А тут, ваше преосвященство, ваша мамаша без вас приехали, – доложил келейник, когда преосвященный входил к себе.

– Маменька? Когда она приехала?

– Перед всенощной. Справлялись сначала, где вы, а потом поехали в женский монастырь.

– Это, значит, я ее в церкви видел давеча! О Господи!

И преосвященный засмеялся от радости.

– Они велели, ваше преосвященство, доложить, – продолжал келейник, – что придут завтра. С ними девочка, должно, внучка. Остановились на постоялом дворе Овсянникова.

– Который теперь час?

– Двенадцатый в начале.

– Эх, досадно!

Преосвященный посидел немного в гостиной, раздумывая и как бы не веря, что уже так поздно. Руки и ноги у него поламывало, болел затылок. Было жарко и неудобно. Отдохнув, он пошел к себе в спальню и здесь тоже посидел, все думая о матери. Слышно было, как уходил келейник и как за стеной покашливал отец Сисой, иеромонах. Монастырские часы пробили четверть.

Преосвященный переоделся и стал читать молитвы на сон грядущий. Он внимательно читал эти старые, давно знакомые молитвы и в то же время думал о своей матери. У нее было девять душ детей и около сорока внуков. Когда-то со своим мужем, дьяконом, жила она в бедном селе, жила там очень долго, с семнадцати до шестидесяти лет. Преосвященный помнил ее с раннего детства, чуть ли не с трех лет, и – как любил! Милое, дорогое, незабвенное детство! Отчего оно, это навеки ушедшее, невозвратное время, отчего оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле? Когда в детстве или юности он бывал нездоров, то как нежна и чутка была мать! И теперь молитвы мешались с воспоминаниями, которые разгорались все ярче, как пламя, и молитвы не мешали думать о матери.

Кончив молиться, он разделся и лег, и тотчас же, как только стало темно кругом, представились ему его покойный отец, мать, родное село Лесополье... Скрип колес, бляенье овец, церковный звон в ясные, летние утра, цыгане под окном, – о, как сладко думать об этом! Припомнился священник лесопольский, отец Симеон, кроткий, смиренный, добродушный; сам он был тощ, невысок, сын же его, семинарист, был громадного роста, говорил неистовым басом; как-то попovich обозлился на кухарку и выбранил ее: «Ах ты, ослица Иегудиилова!», и отец Симеон, слышавший это, не сказал ни слова и только устыдился, так как не мог вспомнить, где в Священном Писании упоминается такая ослица. После него в Лесополье священником был отец Демьян, который сильно запивал и напивался подчас до зеленого змия, и у него даже прозвище было: Демьян-Змеевидец. В Лесополье учителем был Матвей Николаич, из семинаристов, добрый, неглупый человек, но тоже пьяница; он никогда не бил учеников, но почему-то у него на стене всегда висел пучок березовых розог, а под ним надпись на латинском языке, совершенно бессмысленная – *betula kinderbalsamica secuta*[29]. Была у него черная мохнатая собака, которую он называл так: Синтаксис.

И преосвященный засмеялся. В восьми верстах от Лесополя село Обнино с чудотворной иконой. Из Обнина летом носили икону крестным ходом по соседним деревням и звонили целый день то в одном селе, то в другом, и казалось тогда преосвященному, что радость дрожит в воздухе, и он (тогда его звали Павлушей) ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно. В Обнине, вспомнилось ему теперь, всегда было много народу, и тамошний священник отец Алексей, чтобы успевать на проскомидии, заставлял своего глухого племянника Илариона читать записочки и записи на просфорах «о здравии» и «за упокой»; Иларион читал, изредка получая по пятаку или гривеннику за обедню, и только уж когда посидел и облысел, когда жизнь прошла, вдруг видит, на бумажке написано: «Да и дурак же ты, Иларион!» По крайней мере до пятнадцати лет Павлуша был неразвит и учился плохо, так что даже хотели взять его из духовного училища и отдать в лавочку; однажды, придя в Обнино на почту за письмами, он долго смотрел на чиновников и спросил: «Позвольте узнать, как вы получаете жалованье: помесячно или поденно?»

Преосвященный перекрестился и повернулся на другой бок, чтобы больше не думать и спать.

– Моя мать приехала... – вспомнил он и засмеялся. Луна глядела в окно, пол был освещен, и на нем лежали тени. Кричал сверчок. В следующей комнате за стеной похрапывал отец Сисой, и что-то одинокое, сиротское, даже бродяжеское слышалось в его стариковском храпе. Сисой был когда-то экономом у епархиального архиерея, а теперь его зовут «бывший отец эконом»; ему семьдесят лет, живет он в монастыре в шестнадцати верстах от города, живет и в городе, где придется. Три дня назад он зашел в Панкратиевский монастырь, и преосвященный оставил его у себя, чтобы как-нибудь на досуге поговорить с ним о делах, о здешних порядках...

В половине второго ударили к заутрене. Слышно было, как отец Сисой закашлял, что-то проворчал недовольным голосом, потом встал и прошелся босиком по комнатам.

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Отец Сисой! – позвал преосвященный. Сисой ушел к себе и немного погодя явился уже в сапогах, со свечой; на нем сверх белья была ряса, на голове старая, полинялая скуфейка.

– Не спится мне, – сказал преосвященный, садясь. – Нездоров я, должно быть. И что оно такое? не знаю. Жар!

– Должно, простудились, владыко. Надо бы вас свечным салом смазать. Сисой постоял немного и зевнул: «О Господи, прости меня, грешного!»

– У Еракина нынче электричество зажигали, – сказал он. – Не ндравится мне!

Отец Сисой был стар, тощ, сгорблен, всегда недоволен чем-нибудь, и глаза у него были сердитые, выпуклые, как у рака.

– Не ндравится! – повторил он, уходя. – Не ндравится, Бог с ним совсем!

## II

На другой день, в Вербное воскресенье, преосвященный служил обедню в городском соборе, потом был у епархиального архиерея, был у одной очень больной старой генеральши и наконец поехал домой. Во втором часу у него обедали дорогие гости: старуха-мать и племянница Катя, девочка лет восьми. Во время обеда в окна со двора все время смотрело весеннее солнышко и весело светилось на белой скатерти, в рыжих волосах Кати. Сквозь двойные рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы.

– Уже девять лет, как мы не видались, – говорила старуха, – а вчера в монастыре, как поглядела на вас – Господи! И ни капельки не изменились, только вот разве похудели и бородака длинней стала. Царица Небесная, Матушка! И вчерась во всенощной нельзя было удержаться, все плакали. Я тоже вдруг, на вас глядя, заплакала, а отчего, и сама не знаю. Его святая воля!

И несмотря на ласковость, с какою она говорила это, было заметно, что она стеснялась, как будто не знала, говорить ли ему ты или вы, смеяться или нет, и как будто чувствовала себя больше дьяконицей, чем матерью. А Катя не мигая глядела на своего дядю, преосвященного, как бы желая разгадать, что это за человек. Волоса у нее поднимались из-за гребенки и бархатной ленточки и стояли, как сияние, нос был вздернутый, глаза хитрые. Перед тем как садиться обедать, она разбила стакан, и теперь бабушка, разговаривая, отодвигала от нее то стакан, то рюмку. Преосвященный слушал свою мать и вспоминал, как когда-то, много-много лет назад, она возила и его, и братьев, и сестер к родственникам, которых считала богатыми; тогда хлопотала с детьми, а теперь с внучатами и привезла вот Катю...

– У Вареньки, у сестры вашей, четверо детей, – рассказывала она, – вот эта, Катя, самая старшая, и Бог его знает, от какой причины, зять отец Иван захворал, это, и помер дня за три до Успенья. И Варенька моя теперь хоть по миру ступай.

– А как Никанор? – спросил преосвященный про своего старшего брата.

– Ничего, слава Богу. Хоть и ничего, а, благодарить Бога, жить можно. Только вот одно: сын его Николаша, внучек мой, не захотел по духовной части, пошел в университет в доктора. Думает, лучше, а кто его знает! Его святая воля.

– Николаша мертвецов режет, – сказала Катя и пролила воду себе на колени.

– Сиди, деточка, смирно, – заметила спокойно бабушка и взяла у нее из рук стакан. – Кушай с молитвой.

– Сколько времени мы не видались! – сказал преосвященный и нежно погладил мать по плечу и по руке. – Я, маменька, скучал по вас за границей, сильно скучал.

– Благодарим вас.

– Сидишь, бывало, вечером у открытого окна, один-одинешенек, заиграет музыка, и вдруг охватит тоска по родине, и, кажется, все бы отдал, только бы домой, вас повидать...

Мать улыбнулась, просияла, но тотчас же сделала серьезное лицо и проговорила:

– Благодарим вас.

Настроение переменилось у него как-то вдруг. Он смотрел на мать и не понимал, откуда у нее это почтительное, робкое выражение лица и голоса, зачем оно, и не узнавал ее. Стало грустно, досадно. А тут еще голова болела так же, как вчера, сильно ломило ноги, и рыба казалась пресной, невкусной, все время хотелось пить... После обеда приезжали две богатые дамы, помещицы, которые сидели часа полтора молча, с вытянутыми физиономиями; приходил по делу архимандрит, молчаливый и глуховатый. А там зазвонили к вечерне, солнце опустилось за лесом, и день прошел. Вернувшись из церкви, преосвященный торопливо помолился, лег в постель, укрылся потеплей.

Неприятно было вспоминать про рыбу, которую ел за обедом. Лунный свет беспокоил его, а потом послышался разговор. В соседней комнате, должно быть, в гостиной, отец Сисой говорил о политике:

– У японцев теперь война. Воюют. Японцы, матушка, все равно что черногорцы, одного племени. Под игом турецким вместе были.

А потом послышался голос Марии Тимофеевны:

– Значит, Богу помолившись, это, чаю напившись, поехали мы, значит, к отцу Егору в Новохатное, это... И то и дело «чаю напившись», или «напимшись», и похоже было, как будто в своей жизни она только и знала, что чай пила. Преосвященному медленно, вяло вспоминалась семинария, академия.

Года три он был учителем греческого языка в семинарии, без очков уже не мог смотреть в книгу, потом постригся в монахи, его сделали инспектором. Потом защищал диссертацию. Когда ему было тридцать два года, его сделали ректором семинарии, посвятили в архимандриты, и тогда жизнь была такой легкой, приятной, казалась длинной-длинной, конца не было видно. Тогда же стал болеть, похудел очень, едва не ослеп и, по совету докторов, должен был бросить все и уехать за границу.

– А потом что? – спросил Сисой в соседней комнате.

– А потом чай пили... – ответила Марья Тимофеевна.

– Батюшка, у вас борода зеленая! – проговорила вдруг Катя с удивлением и засмеялась. Преосвященный вспомнил, что у седого отца Сисоя борода в самом деле отдает зеленью, и засмеялся.

– Господи Боже мой, наказание с этой девочкой! – проговорил громко Сисой, рассердившись. – Балованная какая! Сиди смирно!

Вспомнилась преосвященному белая церковь, совершенно новая, в которой он служил, живя за границей; вспомнился шум теплого моря. Квартира была в пять комнат, высоких и светлых, в кабинете новый письменный стол, библиотека. Много читал, часто писал. И вспомнилось ему, как он тосковал по родине, как слепая нищая каждый день у него под окном пела о любви и играла на гитаре, и он, слушая ее, почему-то всякий раз думал о прошлом. Но вот минуло восемь лет, и его вызвали в Россию, и теперь он уже состоит викарным архиереем, и все прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось...

В спальню вошел отец Сисой со свечой.

– Эва, – удивился он, – вы уже спите, преосвященнейший?

– Что такое?

– Да ведь еще рано, десять часов, а то и меньше. Я свечку нынче купил, хотел было вас салом смазать.

– У меня жар... – проговорил преосвященный и сел. – В самом деле, надо бы что-нибудь. В голове нехорошо...

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
Сисой снял с него рубаху и стал натирать ему грудь и спину свечным салом.

– Вот так... вот так... – говорил он. – Господи Иисусе Христе... Вот так. Сегодня ходил я в город, был у того – как его? – протоиерея Сидонского... Чай пил у него... Не ндравится он мне! Господи Иисусе Христе... Вот так... Не ндравится!

### III

Епархиальный архиерей[30], старый, очень полный, был болен ревматизмом или подагрой и уже месяц не вставал с постели. Преосвященный Петр проводывал его почти каждый день и принимал вместо него просителей. И теперь, когда ему нездоровилось, его поражала пустота, мелкость всего того, о чем просили, о чем плакали; его сердили неразвитость, робость; и все это мелкое и ненужное угнетало его своею массою, и ему казалось, что теперь он понимал епархиального архиерея, который когда-то, в молодые годы, писал «Учения о свободе воли», теперь же, казалось, весь ушел в мелочи, все позабыл и не думал о Боге. За границей преосвященный, должно быть, отвык от русской жизни, она была не легка для него; народ казался ему грубым, женщины-просительницы скучными и глупыми, семинаристы и их учителя необразованными, порой дикими. А бумаги, входящие и исходящие, считались десятками тысяч, и какие бумаги! Благочинные во всей епархии ставили священникам, молодым и старым, даже их женам и детям, отметки по поведению, пятерки и четверки, а иногда и тройки, и об этом приходилось говорить, читать и писать серьезные бумаги. И положительно нет ни одной свободной минуты, целый день душа дрожит, и успокаивался преосвященный Петр, только когда бывал в церкви.

Не мог он никак привыкнуть и к страху, какой он, сам того не желая, возбуждал в людях, несмотря на свой тихий, скромный нрав. Все люди в этой губернии, когда он глядел на них, казались ему маленькими, испуганными, виноватыми. В его присутствии робели все, даже старики-протоиереи, все «бухали» ему в ноги, а недавно одна просительница, старая деревенская попадьа, не могла выговорить ни одного слова от страха, так и ушла ни с чем. И он, который никогда не решался в проповедях говорить дурно о людях, никогда не упрекал, так как было жалко, – с просителями выходил из себя, сердился, бросал на пол прошения. За все время, пока он здесь, ни один человек не поговорил с ним искренно, попросту, по-человечески; даже старуха мать, казалось, была уже не та, совсем не та! И почему, спрашивается, с Сисоем она говорила без умолку и смеялась много, а с ним, с сыном, была серьезна, обыкновенно молчала, стеснялась, что совсем не шло к ней? Единственный человек, который держал себя вольно в его присутствии и говорил все, что хотел, был старик Сисой, который всю свою жизнь находился при архиереях и пережил их одиннадцать душ. И потому-то с ним было легко, хотя, несомненно, это был тяжелый, вздорный человек. Во вторник после обедни преосвященный был в архиерейском доме и принимал там просителей, волновался, сердился, потом поехал домой. Ему по-прежнему нездоровилось, тянуло в постель; но едва он вошел к себе, как доложили, что при ехал Еракин, молодой купец, жертвователь, по очень важному делу. Надо было принять его. Сидел Еракин около часа, говорил очень громко, почти кричал, и было трудно понять, что он говорит.

– Дай Бог, чтоб! – говорил он, уходя. – Всенепременнейше! По обстоятельствам, владыко преосвященнейший! Желаю, чтоб!

После него приезжала игуменья из дальнего монастыря. А когда она уехала, то ударили к вечерне, надо было идти в церковь.

Вечером монахи пели стройно, вдохновенно, служил молодой иеромонах с черной бородой; и преосвященный, слушая про жениха, Грядущего в полунощи, и про чертог украшенный[31], чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину и уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность, когда также пели про жениха и про чертог, и теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было. И, быть может, на том свете, в той жизни, мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает! Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей.

«Как они сегодня хорошо поют! – думал он, прислушиваясь к пению. – Как хорошо!»

IV

В четверг служил он обедню в соборе, было омовение ног [32]. Когда в церкви кончилась служба и народ расходился по домам, то было солнечно, тепло, весело, шумела в канавах вода, а за городом доносилось с полей непрерывное пение жаворонков, нежное, призывающее к покою. Деревья уже проснулись и улыбались приветливо, и над ними, Бог знает куда, уходило бездонное, необъятное голубое небо.

Приехав домой, преосвященный Петр напился чаю, потом переоделся, лег в постель и приказал келейнику закрыть ставни на окнах. В спальне стало сумрачно. Однако какая усталость, какая боль в ногах и спине, тяжелая, холодная боль, какой шум в ушах! Он давно не спал, как казалось теперь, очень давно, и мешал ему уснуть какой-то пустяк, который брезжил в мозгу, как только закрывались глаза. Как и вчера, из соседних комнат сквозь стену доносились голоса, звук стаканов, чайных ложек... Мария Тимофеевна весело, с прибаутками рассказывала о чем-то отцу Сисою, а этот угрюмо, недовольным голосом отвечал: «Ну их! Где уж! Куда там!» И преосвященному опять стало досадно и потом обидно, что с чужими старуха держала себя обыкновенно и просто, с ним же, с сыном, робела, говорила редко и не то, что хотела, и даже, как казалось ему, все эти дни в его присутствии все искала предлога, чтобы встать, так как стеснялась сидеть. А отец? То т, вероятно, если бы был жив, не мог бы выговорить при нем ни одного слова...

Что-то упало в соседней комнате на пол и разбилось; должно быть, Катя уронила чашку или блюдечко, потому что отец Сисой вдруг плюнул и проговорил сердито:

– Чистое наказание с этой девочкой, Господи, прости меня, грешного! Не напасешься!

Потом стало тихо, только доносились звуки со двора. И когда преосвященный открыл глаза, то увидел у себя в комнате Катю, которая стояла неподвижно и смотрела на него. Рыжие волосы, по обыкновению, поднимались из-за гребенки, как сияние.

– Ты, Катя? – спросил он. – Кто это там внизу все отворяет и затворяет дверь?

– Я не слышу, – ответила Катя и прислушалась.

– Вот сейчас кто-то прошел.

– Да это у вас в животе, дядечка!

Он рассмеялся и погладил ее по голове.

– Так брат Николаша, говоришь, мертвецов режет? – спросил он, помолчав.

– Да. Учится.

– А он добрый?

– Ничего, добрый. Только водку пьет шибко.

– А отец твой от какой болезни умер?

– Папаша были слабые и худые, худые, и вдруг – горло. И я тогда захворала, и брат Федя, – у всех горло. Папаша померли, дядечка, а мы выздоровели.

У нее задрожал подбородок, и слезы показались на глазах, поползли по щекам.

– Ваше преосвященство, – проговорила она тонким голоском, уже горько плача, – дядечка, мы с мамашей остались несчастными... Дайте нам немножечко денег... будьте такие добрые... голубчик!..

Он тоже прослезился и долго от волнения не мог выговорить ни слова, потом погладил ее по голове, потрогал за плечо и сказал:

– Хорошо, хорошо, девочка. Вот наступит Светлое Христово Воскресение, тогда потолкуем... Я помогу... помогу...

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
Тихо, робко вошла мать и помолилась на образа. Заметив, что он не спит, она спросила:

– Не покушаете ли супчику?

– Нет, благодарю... – ответил он. – Не хочется.

– А вы, похоже, нездоровы... как я погляжу. Еще бы, как не захворать! Целый день на ногах, целый день – и Боже мой, даже глядеть на вас и то тяжело. Ну, Святая не за горами, отдохнете, Бог даст, тогда и поговорим, а теперь не стану я беспокоить вас своими разговорами. Пойдем, Катечка, – пусть владыка поспит.

И он вспомнил, как когда-то очень давно, когда он был еще мальчиком, она точно так же, таким же шутливо-почтительным тоном говорила с благочинным... Только по необыкновенно добрым глазам, робкому, озабоченному взгляду, который она мельком бросила, выходя из комнаты, можно было догадаться, что это была мать. Он закрыл глаза и, казалось, спал, но слышал два раза, как били часы, как покашливал за стеной отец Сисой. И еще раз входила мать и минуту робко глядела на него. Кто – то подъехал к крыльцу, как слышно, в карете или в коляске. Вдруг стук, хлопнула дверь: вошел в спальню келейник.

– Ваше преосвященство! – окликнул он.

– Что?

– Лошади поданы, пора к Страстям Господним.

– Который час?

– Четверть восьмого.

Он оделся и поехал в собор. В продолжение всех двенадцати Евангелий[33] нужно было стоять среди церкви неподвижно, и первое Евангелие, самое длинное, самое красивое, читал он сам. Бодрое, здоровое настроение овладело им. Это первое Евангелие «Ныне прославился Сын Человеческий»[34] он знал наизусть; и, читая, он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы, и казалось, что это все те же люди, что были тогда, в детстве и в юности, что они все те же будут каждый год, а до каких пор – одному Богу известно.

Отец его был дьякон, дед – священник, прадед – дьякон, и весь род его, быть может, со времен принятия на Руси христианства, принадлежал к духовенству, и любовь его к церковным службам, духовенству, к звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой; в церкви он, особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым. Так и теперь. Только когда прочли уже восьмое Евангелие, он почувствовал, что ослабел у него голос, даже кашля не было слышно, сильно разболелась голова, и стал беспокоить страх, что он вот-вот упадет. И в самом деле, ноги совсем онемели, так что мало-помалу он перестал ощущать их, и непонятно ему было, как и на чем он стоит, отчего не падает...

Когда служба кончилась, было без четверти двенадцать. Приехав к себе, преосвященный тотчас же разделся и лег, даже Богу не молился. Он не мог говорить и, как казалось ему, не мог бы уже стоять. Когда он укрывался одеялом, захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось! Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких, дешевых ставень, низких потолков, не чувствовать этого тяжелого монастырского запаха. Хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить, отвести душу!

Долго слышались чьи-то шаги в соседней комнате, и он никак не мог вспомнить, кто это. Наконец отворилась дверь, вошел Сисой со свечой и с чайной чашкой в руках.

– Вы уже легли, преосвященнейший? – спросил он. – А я вот пришел, хочу вас смазать водкой с уксусом. Ежели натереться хорошо, то большая от этого польза. Господи Иисусе Христе... Вот так... Вот так... А я сейчас в нашем монастыре был... Не ндравится мне! Уйду отсюда завтра, владыко, не желаю больше. Господи Иисусе Христе... Вот так...

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Сисой не мог долго оставаться на одном месте, и ему казалось, что в Панкратиевском монастыре он живет уже целый год. А главное, слушая его, трудно было понять, где его дом, любит ли он кого-нибудь или что-нибудь, верует ли в Бога... Ему самому было непонятно, почему он монах, да и не думал он об этом, и уже давно стерлось в памяти время, когда его постригли; похоже было, как будто он прямо родился монахом.

– Уйду завтра. Бог с ним, со всем!

– Мне бы потолковать с вами... все никак не соберусь, – проговорил преосвященный тихо, через силу. – Я ведь тут никого и ничего не знаю...

– До воскресенья, извольте, останусь, так и быть уж, а больше не желаю. Ну их!

– Какой я архиерей? – продолжал тихо преосвященный. – Мне бы быть деревенским священником, дьячком... или простым монахом... Меня давит все это... давит...

– Что? Господи Иисусе Христе... Вот так... Ну, спите себе, преосвященнейший!.. Что уж там! Куда там! Спокойной ночи!

Преосвященный не спал всю ночь. А утром, часов в восемь, у него началось кровотечение из кишок. Келейник испугался и побежал сначала к архимандриту, потом за монастырским доктором Иваном Андреичем, жившим в городе. Доктор, полный старик, с длинной седой бородой, долго осматривал преосвященного и все покачивал головой и хмурился, потом сказал:

– Знаете, ваше преосвященство? Ведь у вас брюшной тиф!

От кровотечений преосвященный в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться. «Как хорошо! – думал он. – Как хорошо!» Пришла старуха-мать. Увидев его сморщенное лицо и большие глаза, она испугалась, упала на колени пред кроватью и стала целовать его лицо, плечи, руки. И ей тоже почему-то казалось, что он худее, слабее и незначительнее всех, и она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного.

– Павлуша, голубчик, – заговорила она, – родной мой!.. Сыночек мой!.. Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне!

Катя, бледная, суровая, стояла возле и не понимала, что с дядей, отчего у бабушки такое страдание на лице, отчего она говорит такие трогательные, печальные слова. А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!

– Сыночек, Павлуша, отвечай же мне! – говорила старуха. – Что с тобой? Родной мой!

– Не беспокойте владыку, – проговорил Сисой сердито, проходя через комнату. – Пущай поспит... Нечего там... чего уж!..

Приезжали три доктора, советовались, потом уехали. День был длинный, неимоверно длинный, потом наступила и долго-долго проходила ночь, а под утро, в субботу, к старухе, которая лежала в гостиной на диване, подошел келейник и попросил ее сходить в спальню: преосвященный приказал долго жить.

А на другой день была Пасха. В городе было сорок две церкви и шесть монастырей; гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух; птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно, колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной улице после полудня началось катанье на рысаках, – одним словом, было весело, все благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем.

Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru) никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя-дьякона, в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят...

И ей в самом деле не все верили.

1899–1902

О серии «Классика русской духовной прозы»

По словам А. П. Чехова, «человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек». Как тут не вспомнить и крылатую фразу Тертуллиана о том, что «душа человека по природе своей христианка»! Русская литература с ее вниманием к человеческой душе, к «проклятым вопросам» бытия, пронизана поиском веры, стремлением «дойти до самой сути». Именно такие произведения – рассказывающие о силе духа, поднимающие вопросы об истинном смысле жизни, о Боге и человеке – представлены в серии «Классика русской духовной прозы».

Эта серия объединила книги, которые при других обстоятельствах едва ли могли бы оказаться на одной полке. Наряду с хрестоматийными «Повестями Белкина» и «Тарасом Бульбой» вы встретите здесь и менее популярные произведения русских классиков, а также сможете познакомиться с творчеством авторов не так хорошо известных современному читателю, например, с художественной прозой протоиерея Валентина Свенцицкого. Некоторые произведения, такие, как повесть «Архиерей» иеромонаха Тихона (Барсукова), для многих станут открытием. В серию также вошла яркая проза современных писателей, продолжающих традиции классической литературы.

Мы рекомендуем

1. Александр Сергеевич Пушкин. Повести
2. Николай Васильевич Гоголь. Повести
3. Федор Михайлович Достоевский. Повести и рассказы
4. Иван Алексеевич Бунин. Рассказы
5. Л. Пантелеев. Повести и рассказы
6. Константин Николаевич Леонтьев. Дитя души (повесть). Мемуары
7. Валентин Павлович Свенцицкий. Избранное
8. Иван Сергеевич Шмелев. Няня из Москвы
9. Василий Акимович Никифоров-Волгин. Дорожный посох (повесть). Рассказы
10. Борис Николаевич Ширяев. Неугасимая лампада
11. Алексей Константинович Толстой. Князь Серебряный
12. Священник Николай Агафонов. Повести и рассказы
13. Алексей Николаевич Варламов. Повести и рассказы

Следите за новинками серии!

Примечания

1

«Бог из машины» (лат.) – механическая благополучная развязка драматического конфликта.

2

Начало духовного стиха «Плач Иосифа и быль»:

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
Кому повем печаль мою,  
Кого призову к рыданию?  
Токмо Тебе, Владыко мой,  
Известна и печаль моя.  
(Бессонов П. Калики переходящие. Ч. I. М., 1861. С. 187.)

3  
Скоктание – «щекотание», чувственные ласки и вызываемая ими похоть.

4  
Смертельные прыжки (лат.).

5  
«Радуйся, высота, недосыгаемая для мыслей человеческих; радуйся, глубина, непроницаемая и для ангельских очей» (церк. – сл.). «Высота, неудобовосходимая человеческими помыслами» – метафора Небес, «глубина, неудобозримая и ангельскими очима» – метафора земли.

6  
«Радуйся, дерево с прекрасными плодами, от которого питаются верные; радуйся, дерево с тенистою листвою, под которым укрываются многие» (церк. – сл.). В греческом тексте акафиста: «дендрон» и «ксюлон». В первом случае возникает аллюзия древа, приносящего добрые плоды (см.: Мф. 7: 17). Второй термин в Библии встречается для обозначения райского древа жизни (см.: Быт. 2: 9; Откр. 2: 7, 22: 2) и Крестного древа, на котором был распят Христос (см.: деян. 5: 30, 10: 39, 13: 29; 1 Пет. 2: 24; Гал. 3: 13) и которое стало новым деревом жизни – вечной жизни по Воскресении.

7  
Светильник, подающий свет пребывающим [во тьме неведения] (церк. – сл.).

8  
Лилия райского произрастания (церк. – сл.).

9  
«Подними очи твои, Сион, и вокруг посмотри: ибо вот, сошлись к тебе, как божественно сияющие светила, от запада, и севера, и моря и востока дети твои...» (церк. – сл.)

10  
На юге кулич называют «пасхой», или «паской». (Прим. А. П. Чехова.)

11  
Патриарх Диоскор (V в.) – архиепископ Александрийский. Известен защитой монофизитской ереси и гонениями на правоверных христиан.

12  
Независимо от опыта, до опыта (лат.).

13  
Пусть выслушают другую сторону (лат.).

14  
Умному достаточно (лат.).

15

Повести и рассказы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
Здоровый дух в здоровом теле (лат.).

16  
Человек (греч.).

17  
Гадяч – уездный город Полтавской губернии.

18  
Пусть он лопнет (укр.).

19  
«Глитай, або ж павук» – «Мироед, или Паук» (укр.), драма М. Л. Кропивницкого.

20  
В России в первой половине XIX в. кантонистами назывались сыновья низших воинских чинов, с малолетства зачислявшиеся на военную службу.

21  
Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Герой».

22  
Строка из романа М. Л. Яковлева на слова «Элегии» А. А. Дельвига.

23  
Скажи, чтобы дали нам чаю (фр.).

24  
Оценка, будто бы данная князем Г. А. Потемкиным после первого представления «Недоросля» Д. И. Фонвизина. Печатно приведена впервые в «Русском вестнике» (1808. № 8, с. 264), затем неоднократно повторялась в литературе о Фонвизине и стала ходячим анекдотом.

25  
Начальная перефразированная строка романа А. Г. Рубинштейна «Ночь» на слова А. С. Пушкина «Мой голос для тебя и ласковый и томный...»

26  
А. Ф. Писемский (1821–1881) – русский писатель.

27  
Грядет час, в онь же вси сущи во гробех услышат глас Сына Божия; и изыдут сотворши благая, в воскрешение живота, а сотворши злая в воскрешение суда. («Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения». Ин. 5: 28.)

28  
Душ Шарко – оздоровительный струевой душ, названный в честь французского врача-невропатолога Ж. Шарко.

29  
фраза составлена из латинских и немецких слов: *betula* (лат.) – «береза», *kinder* (нем.) – «детская», *balsamica* (лат.) – «исцеляющая», *secuta* (лат.) – «секущая».

30

Епархиальный архиерей – глава епархии. Герой рас-сказа – викарный архиерей (помощник епархиального).

31

См.: Мф. 25: 1–13.

32

Омовение ног – обряд, совершаемый архиереем в кафедральном соборе в четверг Страстной недели в память об омовении ног ученикам, которое совершил Христос на Тайной вечере (см.: Ин. 13: 4).

33

Двенадцать Евангелий – двенадцать евангельских отрывков, которые читаются на утрене Великой пятницы и рассказывают о страданиях Христа.

34 Ин. 13:31 и след.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://chekhovanton.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!